



Памятники исторической литературы



*Петр Полевой*

КУДЕСНИК

Пётр Николаевич Полевой

## Кудесник

«Кудесник» — роман русского историка и беллетриста Петра Николаевича Полевого (1839–1902).

События романа вращаются вокруг фигуры царского доктора, который имеет неограниченный доступ к сильным мира всего. Однако это не приносит достойному эскулапу радости, так как он вынужден то и дело отрываться от личных занятий, чтобы помочь государю и его супруге...

# Содержание

От Издателя . . . . .	0006
I В кружале . . . . .	0008
II Царский доктор . . . . .	0018
III У царевны . . . . .	0028
IV Царский выход . . . . .	0039
V В селе Преображенском . . . . .	0047
VI Козни . . . . .	0059
VII Наветы врагов . . . . .	0068
VIII Ложь торжествует . . . . .	0079
IX Тяжкая расплата . . . . .	0087
X «Тайное сидение» . . . . .	0096
XI У изголовья умирающего царя . . . . .	0107
XII Кончина царя Феодора Алексеевича . . . . .	0117
XIII В «Трубе» . . . . .	0126
XIV Царская милость . . . . .	0133
XV Мрачные думы . . . . .	0141
XVI Жемчужница . . . . .	0151
XVII Смута затевается . . . . .	0160
XVIII Возвращение боярина Матвеева . . . . .	0168
XIX Приговор над врагами . . . . .	0178
XX Тревожная ночь . . . . .	0187
XXI В стрелецких слободах . . . . .	0194
XXII Страшная действительность . . . . .	0206
XXIII Первый блин комом . . . . .	0218
XXIV Роковой день . . . . .	0228



**Пётр Николаевич Полевой  
Кудесник**

# От Издателя

**«Памятники исторической литературы» — новая серия электронных книг Мультимедийного Издательства Стрельбицкого.**

В эту серию вошли произведения самых различных жанров: исторические романы и повести, научные труды по истории, научно-популярные очерки и эссе, летописи, биографии, мемуары, и даже сочинения русских царей.

Объединяет их то, что практически каждая книга стала вехой, событием или неотъемлемой частью самой истории.

Это серия для тех, кто склонен не переписывать историю, а осмысливать ее, пользуясь первоисточниками без купюр и трактовок.

Пробудить живой интерес к истории, научить соотносить события прошлого и настоящего, открыть забытые имена, расширить исторический кругозор у читателей — вот миссия, которую несет читателям книжная серия «Памятники исторической литературы».

Читатели «Памятников исторической литературы» смогут прочесть произведения таких выдающихся российских и зарубежных историков и литераторов, как К. Биркин, К. Валишевский, Н. Гейнце, Н. Карамзин, Карл фон Клаузевиц, В. Ключевский, Д. Мережковский, Г. Сенкевич, С. Соловьев, Ф. Шиллер и др.

Книги этой серии будут полезны и интересны не только историкам, но и тем, кто любит читать исторические произведения, желает заполнить пробелы в знаниях или только собирается углубиться в изучение истории.

# КУДЕСНИКЪ.



Съ 12 отдѣльными рисунками авт. К. В. Лебедева.

2ое изданіе.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Изданіе А. Ф. Девріена.

I  
В кружале



Наступал февраль 1682 года. Погода на Москве стояла сырая, мозглая. Мокрый снег перепалал крупными липкими хлопьями, покрывал все пушистым, шереховатым белым покровом — на час, много на два — и таял, обращаясь в серую, мутную, грязную жидель... Не только улицы и крыши, но даже стены домов не просыхали; с крыш и желобов постоянно текло и капало. Под вечер скрепляло всю эту грязь кое-каким плохоньким морозцем, но под утро выпадал дождь со снежной крупой — и слякоть опять тянулась без конца.

В один из таких сумрачных и ненастных февральских дней в кружале, около Никольского крестца, было очень шумно и тесно. Народ то и дело входил в кружало погреться, потесниться около стойки, из-за которой продавали «зелено вино» и хмельную брагу, покалякать со встречным приятелем и послушать городских новостей. Кружало это не даром слыло в народе под названием «Трубы». Кого-кого тут нельзя было встретить? И монаха дальнего Афона, и сборщика на храм из любого конца Московской Руси, и стрельца, и про-

пойцу-подъячего, и разночинца, и подгородного крестьянина... Всем тут было место: — кажется, и яблоку упасть негде, а люди толкуются, как мошки над болотом, пьют, закусывают, ведут шумную беседу, шутят, смеются, ссорятся и бранятся или так галдят, скаля зубы. Кажется, и дышать нечем в этой толпе; пар от нее стоит над головами, как в доброй бане; смрад от овчин, от обуви, от поношенного платья насквозь пропитал весь воздух, а люди стоят да калякают, и видимо находят большое удовольствие в этой тесноте и духоте! На этот раз, однако же, весь интерес толпы сводится к тому, что направо от стойки сидит Юрочка-юродивый и «благовествует» ближайшим рядам слушателей о каком-то «переставлении»...

— Близко будто-то переставленье-то — скazujeет! — передают из передних рядов в задние, которым «благовествование» не слышно явственно.

— Верхи, говорит, у хором попадают и стены потрясутся! И кровь прольется всякая — и темная, и светлая! То есть так понимать надо: — повинная и неповинная, — растолковы-



„О! жись лучше, вахь мильнослим такжею живётсь ва зиньь разволокслыма торснхъ...“

вал соседу какой-то подъячий.

— Кто его знает? Може — и точно правду баает? — отозвался на это собеседник, посад-

ский человек из Красного Села. — Ведь ежели так присмотреться, точно времена беспокойные.

— Уж какое тут спокойные! Царь-то вон и молодой — да, говорят, уж на ладан дышит!

— Что ты пустое мелешь? Невеста высватана — через неделю и свадьбе быть... А ты — на ладан дышит!

— Верно тебе говорю — хоть и под честной венец царь Федор Алексеич стать собирается, а все же не жилец он на этом свете!

— Смотри, брат, как бы за эти речи да не угодить тебе в застенки! За такие речи иной раз клещами язык из глотки вынимают...

— Ну, что ты меня стращаешь, живодер! Вон поди у Прошки спроси — вон в углу у окна приткнулся — он тебе еще лучше моего скажет...

— Какой такой Прошка?

— А тот самый Прошка, что у царского дохтура служит. Уж ему как не знать!

— Ну, ну! Пойдем, спросим...

И оба собеседника пробрались через толпу к тому месту кружала, где, приткнувшись к окошку, на каком-то обрубе сидел рослый,

здоровый парень, лет двадцати пяти, в потертом цветном кафтане с полинялыми отворотами, и в поношенных полосатых штанах, опущенных в желтые, сильно истоптанные сапоги. Он что-то рассказывал и объяснял двум стрельцам и человеку довольно неопределенного типа, в засаленном подряснике, с котомкою за плечами.

— Я вот теперь у него пятый год во дворе служу, и никакого дурна от него не видал, хоша он и бусурман... Одначе никак этого и в ум вместить не могу: как он не токма что лечит, а и приступить-то к царю дерзает?

— А то есть почему? В каком роде ты это разумеешь? — приступил к Прошке с вопросами человек в засаленном подряснике.

— А потому и говорю, что ведь он же бусурман: не нашей он веры, не нашего обычая. Постов не знает; жрет всякую нечисть. Ну, сам посуди! Как его можно к царю подпустить?

— Это точно, что подпускать не подобает! — глубокомысленно заметили стрельцы.

— Да уж на что я простой человек — ведь у него в холопьях состою, а я бы с ним за один

стол не сел! — горячо утверждал Прошка. — И что от его стола останется, я того ни за что и в рот не возьму. А тут ведь он царю из своих рук лекарство-то дает! Ну, как же тут царю-батюшке здоровым быть — сами посудите!

— А как слышно, Прошенька, о здоровье-то государском, что твой дохтур сказывает? — обратились к докторскому слуге с расспросами с разных сторон.

— Сказывает, что не очень надежно, — проговорил Прошка с подобающею важною, — и хотя и хвалится, что своею наукой поможет, иначе говорит: все в воле Божией.

— Да наука-то у него какая? Небось, черно-книжная? — спросил странник.

— Уж это без сомнения! — подтвердил Прошка. — Уж кому же это знать, как не нам? Все видим: как он всякие зелья и снадобья на огне кипятит, с шепотами да с наговорами, да из книг читает, и на крошечных весках все развешивает; а на глаза круглые темные стекла наденет... И вот как перед Истинным, сам я это видел: мешает, мешает он в котелках, а у него под его стряпней синие огоньки поскакивают!

— Ай, ай, ай! Уж это ведомое дело, откуда такие огоньки берутся? Вот, над болотом такие же огни видят!

— Да это еще что! Опять-таки я сам видел, как он лягушек и змей собирает, сажает в банки, а ящерок сушит и на стену вешает...

— Тьфу, пропасти на него нет, на проклятого! — проговорили и стрельцы и странник. — И зачем только это ему нужно?

— А, видно, затем, чтобы кудесничать? Какие ни на есть волхвованья и чары ему для снадобий нужны — я так полагаю! — рассуждал Прошка.

— Да как тебе у этого нехристя жить-то не страшно? Ведь этак, того и гляди, ты и сам душу свою потерять можешь! — проговорил странник, отплевываясь.

— Что делать! Хоть и страшно, а жить надо... Потому наше дело холопское: из воли своего господина выйти не можем... А только одно скажу: от такого дохтура не бывать царю здоровым!

— Ну, а коли, грешным делом, да царь-то Феодор Алексеич не выживет, да прямого наследия не оставит — тогда-то что? Тогда к

нему престол царский перейдет?

— То не легко будет управиться: и от первого брака у царя Алексея сын и от второго брака сын; и у одного мать люта, и у другого сестры тоже себя в обиду не дадут... Тут без заминки не обойдется дело!

— Не об этом ли *переставлении* и Юрочка-то говорит?

— Нет! Он о трусе земном — вот когда земля от грехов-то человеческих содрогнет...

— Обереги нас Бог и от этого, — сказал Прошка, вынимая шапку из-под мышки. — А только одно скажу: с тех пор и грехов стало больше, как к нам иноземцев на житье пущать стали! Вон их целая слобода накопилась... По-моему, так их бы всех...

Прошка сделал рукою весьма выразительный жест.

— Вот, вот! — подтвердили несколько голов. — Так бы их следовало, туда бы им и дорога!

— Ну, да авось-либо и наступит такой час, когда мы с ними со всеми разом порешим! — проговорил один из стрельцов.

— Давай Бог! А пока не порешили, мне все



же к моему немцу поспешать надо; того и гляди, из дворца вернется, да если меня не застанет... Задаст трезвону!

И Прошка, кое-как пробравшись сквозь толпу к беспрестанно отворявшимся и запиравшимся дверям, вышел в сенцы и бегом направился через площадь к Ильинке.

## II Царский доктор

По Ильинке, направо, в небольшом тупике. Среди опрятного широкого двора помещался необширный, но чистенький и уютный домик царского доктора, Данилы Гади́на — как его называли русские люди, на свой лад коверкая иностранные фамилии (сам себя он называл Даниель фон-Хаден). К этому-то домику и направился из кружала высокоумный Прошка, хорошо знакомый со строгими порядками, заведенными в «докторском» доме.

— Ежели теперича он, из дворца едучи, к воротам подъедет, а ты его у ворот не встретишь и тотчас ему ворот не отопрешь — беда! Озлится!

И подбежал к воротам, как раз в то время, когда одноколка доктора фон-Хадена показала на повороте тупика...

Когда одноколка, запряженная сильным и гладко начищенным гнедым меринном, остановилась у ворот, Прошка мигом распахнул

воротные створы, взял мерина под уздцы и подвел к крылечку дома.

Доктор — высокий пожилой мужчина, с выразительным лицом и умными глазами, одетый в немецкое темное платье и такую же епанчу, слез с одноколки, отдал Прошке длинный бич и вожжи, и пошел вверх по ступеням крылечка, на площадке которого его уже ожидали дочь его Лизхен и сын Михаэль, незадолго перед тем возведенный в государевы стольники.

На этот раз доктор поднимался на ступени крылечка довольно медленно, как бы преднамеренно задерживая шаг. Обыкновенно он взбегал на эту лестницу одним духом и еще с нижней ступеньки начинал шутить и заговаривать со своими детьми, которых очень любил, и которые тоже в нем души не чаяли. Но в этот день дети заметили, что отец их не расположен ни к шутке, ни даже к разговорам... На лице его выражалось ясно недовольство, даже огорчение; брови были насуплены, и не было на устах его добродушной улыбки.

— Ты нездоров, отец? — спросила его по-немецки Лизхен, в то время как сын снимал

епанчу с его плеч.

— Нет, мой друг, — отвечал ей отец, — телом я совершенно здоров, но дух мой болеет и скорбит... Впрочем, дайте мне немного прийти в себя, дайте отдохнуть от этого ада, который называется «Верхом государевым»...

И он, проводя рукою по густым своим волосам с видом человека, утомленного и нравственно разбитого, прошел через главную комнату своего домика, которая была и столовою и приемною, к себе в кабинет, заставленный шкапами с книгами и столами, на которых были навалены книги и рукописи и стояли глобусы, препараты в банках, лежали инструменты, хирургические и математические, бутылки со спиртом и банки со всякими медикаментами и химическими продуктами.

Когда он опустился в большое кожаное кресло среди этой «храмины наук», как он любил ее называть, когда он взглянул на своих старых друзей в кожаных прочных переплетах и на все то, что служило ему постоянно материалом и подспорьем для его научных работ, у него стало как будто легче на душе. Он еще раз провел рукою по волосам и ду-

мал про себя:

«О! Как душно, как невыносимо тяжело живется в этих раззолоченных теремах, которые называются Дворцом Государевым! Как вяло, как тоскливо там проходит жизнь, среди мелочных, ничтожных забот, среди нелепых обрядов азиатской вежливости, среди таких обычаев, которые не дают царю возможности ни шагу ступить свободно, ни слова вымолвить, ни даже мысли допустить, не подчиненной строгим формам приличий, предрассудков, суеверий и вымыслов самого дикого невежества! Как и чем он живет — этот добрый, милый, но несчастный царь, вечно окруженный своей родней и тесными рядами своих бояр, никогда не имеющий возможности остаться наедине с самим собою и со своею совестью!.. О! Да там утро одно пробить — это уже такая мука... такая мука!»

И ему припомнились все его встречи сегодняшнего утра, все разговоры, которые пришлось вести, все расспросы, обращенные к нему с разных сторон, в разных видах и формах, но одинаково направленные к одной цели — разузнать, как долго продлится жизнь

этого молодого, видимо угасавшего существа?

— И хоть бы кто-нибудь любил его, жалел его, сочувствовал ему! — продолжал думать Даниель фон-Хаден. — Все вопросы, все видимое участие вызывается только тем, что каждый про себя рассчитывает: — «успею ли я еще выпросить себе ту деревеньку, которую я высмотрел, или получить для сына то местечко, которое я наметил? Ведь после смерти этого царя будет другой царь и около него другие люди!»... О, какие жалкие, своекоростные, какие темные люди! И как трудно между ними жить!

Легкий стук в двери прервал нить его печальных размышлений.

— Отец! — послышался из-за двери голос Лизхен, — обед на столе.

Доктор Даниэль поднялся с кресла, сбросил с себя верхнее парадное платье, повесил его на гвоздик и, переодевшись в домашнее платье, а волосы прикрыв темной бархатной шапочкой, вышел в столовую.

— Ну дети! — сказал он, обращаясь к сыну и дочери. — Давайте обедать и будем говорить... Я теперь чувствую себя дома!

— Ах, отец, мне всегда бывает так тяжело, когда я вижу тебя в унылом состоянии духа! — сказал сын. — Я привык знать тебя бодрым и уверенным в себе; привык к тому, чтобы ты и в нас вселял бодрость духа!

— Ну, знаешь ли, трудно всегда быть ровным, в особенности, когда чувствуешь, что почва у тебя под ногами колеблется, или когда видишь, что совершаются кругом тебя дела... Но оставим это покамест. Лучше расскажи мне, что ты сегодня утром без меня делал? Что ты прочел?

И сын за столом, во время обеда, который, не суетясь и не спеша, подавала им Лизхен, рассказал отцу все, что делал утром, что прочел и перевел из латинских классиков, и какие решил геометрические теоремы.

После обеда, когда Лизхен поставила перед каждым из них высокие глиняные кружки пива и подала отцу фамильную дедовскую трубку с добрым табаком, доктор Даниэль невольно вернулся к разговору о Дворе и дворцовых интригах, среди которых протекла большая часть его жизни.

— Ты не можешь себе представить, что

там, на этом «Верху», творится! Две семьи, две родни — и две партии, которые готовы съесть друг друга! Но одной из этих партий, партии Милославских, не везет... Один царь, старший сын в семье, уже обречен смерти неизбежной... Ну, год протянет — с трудом! — а конец все тот же. Другой, младший сын в семье, головою слаб и телом, — ну, словом, царствовать не может и не будет. А у другой, гораздо более слабой партии, которая теперь в загоне, растет юный царевич, точь-в-точь такой, как те, что в сказках являются... Здоровый, крепкий, способный и — красавец! И что же? Все его в загоне держат, удаляют от Двора и об одном только заботу прилагают, как бы его совсем сбывать с рук! А между тем сама судьба ему благоприятствует и помогает, и указывает путь к престолу — и люди напрасно стараются уклонить его от пути, предназначенного Самим Богом!.. На этого стоит только взглянуть, чтобы сказать, что он «будет жить», что он полон избытком сил, что ему принадлежит будущее!

— Как ты горячо о нем говоришь, батюшка! — сказал Михаэль фон-Хаден. — Можно



поручиться за то, что ты и теперь уже самый горячий, самый ревностный его сторонник!

— Еще бы! Да и может ли это быть иначе? Ребенок, который растет в этой отвратительной теремной обстановке, среди старого бабья, старых пуховиков и адской скуки — и столько носит в себе огня, как этот царевич Петр! Глаза горят неугасимым пламенем, и на устах постоянный вопрос: из чего это сделано? на что это нужно? как с этим управиться? А когда я к нему приду, он сейчас ко мне, и ручку мне подаст, и не дичится нисколько, и начнет меня спрашивать, как та да эта вещь по-немецки называется? Чудный ребенок!

— Но, судя по твоим же словам, у него так много врагов, что ему, пожалуй, и не удастся царствовать?.. Его эти царевны и вся их партия не допустят до престола. Вот что ужасно подумать!

— И сила, и право и судьба — за него. Кто же будет в силах устоять против таких трех начал? Но, что тут будет еще много борьбы потрачено, что, может быть, даже и кровь прольется... я в этом не сомневаюсь. Мило-

славские даром не сдадутся и не уступят своего места!

— Но ты-то, отец! Ты за кого? — спросил сын с лукавою улыбкой.

— Надеюсь, что ты меня не выдашь и не подведешь под ответ? — отвечал ему в том же тоне доктор Даниэль; а потом, понизив голос, добавил: — Я — за Петра, конечно!

В это время за дверью послышались шаги, и на пороге явился Прошка.

— К тебе из дворца пристав прислан с поручением от царевны Софии Алексеевны.

— Зови его сюда скорее!

Слуга вышел и возвратился с приставом, который, почтительно поклонившись фон-Хадену, доложил:

— Господин доктор Данила! Ея благородие царевна Софья Алексеевна приказала тебе сказать, что ей недужится сегодня, и просит она тебя пожаловать к ней без всякого промедления.

— Передай царевне, что сейчас приду, — сказал доктор.

И как только пристав и Прошка вышли из комнаты, он прибавил сквозь зубы:

— Знаю заранее, для чего она придумала эту притворную болезнь! Знаю, о чем она и говорить со мною собирается! Это — женщина, способная завидовать греческим Феодорам и Пульхериям!.. Ну, уж выдался денек!

И он с досадою снял и бросил на стол свою шапочку, готовясь вновь облекаться в свой парадный, служебный костюм.

### III

## У царевны

Доктор фон-Хаден недаром говорил, что он предвидит, о чем именно желает с ним говорить царевна. Она уже засылала к нему разных приближенных к себе людей, чтобы вызвать его мнение об одном важном вопросе, составляющем «злобу дня» на Верху, в среде партии Милославских. Но доктор уклонялся от решительного ответа на щекотливый вопрос, потому что лучшим ответом на него было крайне слабое и ненадежное состояние здоровья царя Феодора Алексеевича. Однако же, его ответами не удовлетворялись и приставали к нему с новыми вопросами на ту же тему — и только, уже в виду упорного молчания фон-Хадена, царевна решилась на довольно рискованный шаг: на личное объяснение с дохтуром-немцем... Уклониться от этого объяснения не было никакой возможности; но доктор Даниэль принимал его неохотно; он понимал, что от него ожидают такого способа действий, который противен его совести

и на который он никогда бы не мог решить-ся...

— Ну, что бы там ни было, и как бы ни было — я не могу поступать против совести! — говорил себе честный немец, подъезжая на своей одноколке к решетке тюремного дворца. Здесь он сошел, передав коня своего в руки дворцовых служителей, попавшихся около ворот; затем он медленными, спокойно-размеренными шагами перешел через двор, прошел за «преграду», охраняемую стрельцами и жильцами, и по переходам направился на Постельное крыльцо, где его уже ожидала одна из любимых постельниц царевны Софии, Аграфена Семенова.

— Добро пожаловать, господин дохтур! — приветствовала она его с поклоном. — Государыня царевна разнемоглась что-то у нас, разнедужилась... Головою страждет! Ждет не дождется тебя; третий раз на крыльцо меня высылает!

И красивая молодая девушка провела доктора довольно извилистым коридором на половину царевны, состоявшую из пяти комнат; пройдя первые две, переполненные царевни-

ными боярынями и служилым женским людом, Аграфена Семенова остановила доктора в третьей комнате, служившей «переднею», т. е. приемною. Сама она, легохонько постучавшись в дверь смежного покоя, приотворила ее и проговорила вслух:

— Государыня царевна, где дохтура изволишь принять?

— Сюда, сюда введи его скорее... Не дождусь я его — недужится, — послышался из-за двери голос царевны, хорошо знакомый доктору фон-Хадену своим мужественным оттенком.

Постельница устранилась и пропустила немца-доктора в опочивальню царевны, которая полусидела-полулежала на своей просторной постели, обложенной подушками и до пола прикрытой шелковым одеялом. Она была в легкой малиновой ферязи, застегнутой до горла мелкими золотыми пуговками; густые, волнистые, темно-русые волосы ее были раскинуты по плечам и подушкам рассыпчатыми прядями и придавали ее смуглому и полному лицу неприятный, сумрачный оттенок... Глаза ее, устремленные на доктора

фон-Хадена, светились недобрым блеском из-под хмуро-насупленных бровей.

— Буди здрава на многия лета, — сказал, приближаясь к царевне, доктор Даниэль, который говорил по-русски настолько хорошо, что при сношениях с ним не надо было прибегать к помощи переводчика.

— Долго ты заставляешь ждать себя, господин дохтур! — проговорила царевна с явною укоризною, не отвечая обычными приветствиями на приветствие доктора. — Видно, тебя чужой недуг не щемит...

Доктор Даниэль поклонился молча, как бы в извинение своей личной вины, и остановился в ожидании дальнейших речей царевны.

— Головою скорблю, — сказала царевна коротко и сухо, — дай средство... Да поскорее!

— Головная скорбь от разных причин бывает, — попытался было начать доктор, — а потому дозволь мне...

— Ну, что там за причины! Еще расспрашивать станешь... Дай средство: приложи чего-нибудь к голове — поставь хрен на затылок!



«После операции... дозволю совсем кратко я духу...»

— Государыня царевна! — Я так не могу лечить... Дозволь мне прикоснуться к голове твоей и поддержать твою руку... А затем я дол-



жен расспросить тебя...

— Что же ты за дохтур, коли ты прямо не можешь назначить средство против каждой боли? — уже гневно проговорила царевна. — Тебе нужно все рассмотреть да послушать — и ты, для пущей важности, готов всякий недуг раздуть Бог весть в какую гору!

— Государыня царевна! Я этого укора не заслуживаю, — скромно заметил доктор Даниэль, понимая, какой именно оборот царевна хочет придать разговору.

— Нет, именно заслуживаешь, и заслужил вполне! Сколько лет ты лечишь брата нашего, царя Феодора Алексеевича, и все же его здоровью нет улучшения — а кажется, он не жалел для тебя ни милостей, ни наград! Где же твоя наука?

— Недуг у благоверного государя неисцелимый. Его можно поддержать, сохранить на некоторое время; но исцелить от недуга нельзя...

— А! Все-таки можно и поддержать и сохранить... И на много лет? — быстро проговорила царевна, как бы ловя фон-Хадена на словах.

— Нет, государыня, тут надобно считать уж не годами, а месяцами. О «годах» не может быть и речи...

— Но, как, однако же?.. За сколько же времени ты можешь поручиться? — спросила царица, после некоторого колебания.

— Я ни за что не ручаюсь, если государю не будет предоставлен полный покой, если государь не будет удален от всех дел, от всех трудов, и...

— Ты, кажется, желал бы даже, чтобы он остался вечным, неутешным вдовцом? Ты, говорят, советовал ему не помышлять о браке? — проговорила царица, впиваясь в лицо доктора Даниэля своими зоркими, недобрыми глазами.

— Если вы хотите продлить жизнь царя, то, конечно, ему жениться не следует, — спокойно и твердо проговорил доктор.

Софья вдруг вся вспыхнула, глаза ее за сверкали... Она сбиралась разразиться страшным порывом гнева; но сдержалась, сделав над собой чрезвычайное усилие, и захлопала в ладоши...

Темный персидский ковер, прикрывав-

ший дверь в моленную, тихо шевельнулся, откинулся и пропустил в терем царевны высокого и стройного монаха, в темной бархатной скуфье, надвинутой по самые брови. Доктор Даниэль взглянул мельком в его сторону и с удивлением узнал в монахе князя Василия Голицына, который под иноческой рясой проникал в терем царевны Софьи.

— Вот, князь! Вразуми его — сделай милость! Он уперся на своем... Да растолкуй ему внятнее... Чтобы он понял! — проговорила царевна порывисто и резко.

Князь взял фон-Хадена под руку и отвел его в самый дальний угол опочивальни, к окну, где и повел с ним разговор вполголоса и по-немецки:

— Вы думаете, почтенный доктор, что царю Феодору не следовало бы теперь вступать во второй брак?

— Не следует, если вам нужно продлить его жизнь, — сказал доктор князю тем же решительным тоном, каким он это говорил царевне.

— Но если брак его необходим по иным, высшим соображениям, которые я не могу

вам изложить? — сказал князь, внимательно вглядываясь в лицо доктора.

— Политика не может иметь значения в медицине, князь.

— Да! Но медицина может иногда иметь весьма важное значение в политике. И вы могли бы оказать нам важную услугу, если бы устранились от решения этого вопроса о царском браке... Ведь мы знаем, что именно, опираясь на ваше мнение, он все откладывает свою свадьбу.

— Чего же вы от меня хотите, князь? — проговорил доктор уже с некоторым волнением в голосе.

— О! Мы бы от вас многого хотели, — проговорил с обворожительной улыбкой хитрый дипломат, — и поверьте, не остались бы у вас в долгу за услугу... Я буду с вами говорить откровенно, надеясь на вашу скромность: нам необходимо женить царя Феодора немедленно хоть в течение... в течение десяти дней... Необходимо поддержать его здоровье и силы всеми средствами, какие дает вам в руки ваша наука, чтобы этот брак остался небесплодным... Вы понимаете меня, доктор?

— Отлично понимаю, но могу вас уверить, что вы требуете от меня невозможного. Если царь, при нынешнем положении его здоровья, женится в течение десяти дней, на той молодой невесте, которая для него избрана — и в особенности, если вы вздумаете искусственными средствами поднимать его силы и энергию — я ни за что не ручаюсь!..

— То есть, как это надо понимать? — переспросил осторожный дипломат.

— Царь может умереть и через три недели, и через полтора месяца — это не подлежит сомнению!

Князь Василий задумался на мгновение и как бы про себя проговорил:

— До тех пор еще много воды утечет... Мы все же должны попробовать...

Потом, обратившись к доктору Даниэлю, он поставил вопрос прямо:

— Можем ли мы на вас рассчитывать в том смысле, в каком я изложил вам наше дело?..

— Нет, князь! Решительно нет. Не могу поступить против моего долга и действовать прямо во вред здоровью царя, которого я при-

зван лечить. Обратитесь с этим делом к другому доктору — к Гутменшу; быть может, он возьмется.

— Но можем ли мы вас просить о том, чтобы вы... не мешались в это дело... Не отговаривали бы царя — отделались бы молчанием, если он спросит вас...

— Молчать я могу, хотя и молчание в данном случае будет уже преступлением, князь!

— Ну, так нам больше от вас ничего и не нужно! — сказал князь Василий, самодовольно покручивая усы, и отошел от окна.

— Ну, что ж, сговорились? — резко спросила царевна у князя.

— Сговорились, государыня-царевна! — проговорил князь Василий своим мягким и певучим голосом, и рукою подал знак доктору, что аудиенция окончена.

## IV Царский выход

Дня три спустя после этой беседы, царь Федор после обедни в домово́й церкви назначил выход в переднюю, где у него состоялся утренний прием, чего за последнюю неделю ни разу не бывало. Может быть, потому, что в этот день солнышко спозаранок проглянуло, и день стоял ясный, морозный — царь чувствовал себя лучше, чем во все предшествовавшие дни, и это отражалось на его настроении духа, которое тоже было в этот день светлое, почти веселое. Все ближние люди сразу это заметили и дали заранее об этом знать своим сородичам и приятелям, ожидавшим царского выхода в передней, чтобы те приготовились поднести царю свои просьбы и докуки. Вот, наконец, дверь из внутренних домашних покоев отворилась, и два стольника внесли в переднюю царское резное кресло, которое устави́ли в углу на возвышении из трех ступенек, обитых красным сукном. За стольниками вышли стряпчие: один принес

круглый, шитый шелком бархатный ковер, который положил к подножию стула, другой — атласную подушку на сиденье, третий вынес на серебряном блюде шелками расшитый царский убрус — и все стали по бокам царского кресла. Минуту спустя в переднюю вышел и царь, поддерживаемый под руки своими ближайшими боярами, Феодором Феодоровичем Куракиным и Богданом Матвеевичем Хитрово — царскими дядьками. Царь был в легком опашне из китайской камки «с городами» и широкой каймой, низанной жемчугом. Он давно уже не надевал и «мало-наряда», который был ему слишком тяжел. Всех поразила прозрачная, желтоватая бледность его лица, впалые, потухшие очи и чрезвычайная его худоба. Рука, которою он опирался на резной черный посох, была тоже прозрачно-бледна и так худа и тонка, что скорее напоминала руку ребенка, нежели руку двадцатилетнего юноши.

Едва царь появился на пороге, все бывшие в передней бояре и иные чины ударили низкий поклон, касаясь перстами пола; царь отвечал приветливым поклоном, потом он взо-



шел на ступени возвышения и опустился на мягкую пуховую подушку своего царского кресла.

— Здрав буди, благоверный государь! — загудели голоса бояр, повторивших такой же низкий поклон.

— Здравы будьте и вы, бояре! — ответил им государь слабым голосом.

И опять вся масса царедворцев заколыхалась, отбивая третий обычный поклон. Затем, один за другим, стали подходить к царю челобитчики; кто просил об отпуске в поместья, кто о месте сыну, кто о прирезке земли или об угодьях. Находились и такие, которые подносили царю всякие диковинки в дар или подавали просфору из дальней обители, в которой побывали на богомолье... И этот прием длился более двух часов, постоянно заставляя царя напрягать внимание и вызывая его на более или менее милостивые отповеди. К концу второго часа он уже видимо стал изнемогать... Взор его стал беспокойным; лицо еще более побледнело. Он взял посох из рук стряпчего, утер убрusом пот со лба и поднялся с места. Последовали обычные приветствия и по-

желания здоровья, и царь удалился во внутренние покои, сопровождаемый лишь очень немногими из ближних бояр.

Но там его уже ожидали две женщины: мама[1] его, Анна Петровна Хитрово, пользовавшаяся большим значением при дворе царя Феодора, и родная сестрица его, царица Софья Алексеевна.

— Здравствуй, царь-батюшка, — проговорила старая боярыня Хитрово, поднимаясь с места и подходя к руке царя Феодора. — Радуюсь, батюшка, что тебя таким здоровым да бодрым вижу... Как быть жениху надлежит!..

Царица Софья молча поцеловалась с братом и, будто про себя, добавила:

— Да вовсе братец не так и болен, как дохтур расписывает! Ему-то не надо бы верить!

— Ах, сестрица, — с некоторым недовольством отозвался царь Феодор. — Напрасно ты на дохтуров гору несешь! На портного пеняешь, что кафтан сносился...

— Полно, полно, государь! И ничего не сносился! Вот как мы свадебку-то справим, да под честной венец тебя с красавицей твоей писаной поставим, так тебя, что молодца в

сказке, и не узнать будет!

— Твоими бы устами да мед пить, мамушка! — сказал царь, улыбаясь грустной улыбкой всех тяжело больных людей.

— С этакой-то красавицей, как и самому не помолодеть да не поздороветь! — вкрадчиво заметила царевна Софья.

— Да и мешкать, матушка-царевна, нечего! Мясоеда ведь, всего-на-все полторы недели осталось. Чего откладывать! — подсказала ей в тон боярыня-мама.

— Да я бы и сам хотел скорее все прикончить, — нерешительно проговорил царь, — да вот все жду, что скажет дохтур Данила?

— Грешно тебе, царь-государь, твою царскую высокую волю в подчинение ставить от его дохтурского сказа, — решился заметить ближний боярин Языков, свойственник царской невесты, Марфы Матвеевны Апраксиной.

— И чего ты так в него вклепался, так ему доверился? — сказала царевна Софья. — Не клином белый свет сошелся. Не один дохтур Данила на Москве; есть дохтура не хуже его.

— Да! Вот, например, хоть Гутменщ, — ска-

зал Языков.

— И точно! Отчего бы этого не запросить?.. — предложила боярыня-мама.

— Не по сердцу он мне, — сказал царь Федор. — Такой на все согласный, покладливый!.. — Будто своей и головы нет...

— Э-э-э! Батюшка царь! — поспешила заявить боярыня-мама. — Немец — все немец! Тот же нехристь! Какой от них правды ждать?

— Пустое ты говоришь, мамушка; не знаючи. Немцы не меньше нас во Христа веруют и правда у них не хуже нашей, — попробовал сказать царь.

Но эти слова его тотчас вызвали возражение и со стороны царицы, и со стороны боярыни-мамы.

— Как можно их правду с нашею равнять, — заметила с достоинством царица, — когда у них правду Лютор устанавливал, а он был монах-расстрига, на трех соборах проклят!

— Ох, батюшка-царь! Ты мне о немецкой правде не сказывай! Хоть ты человек и ученый, а я тебе не поверю... Да знаешь ли ты,

что и о твоём дохтуре сказывают; своими глазами люди видели...

— Мало ли небылиц плетут люди! Все и слушать! — сказал царь, начиная уже несколько прискучать бесплодным спором с двумя крикливыми и настойчивыми собеседницами.

— Не небывальщина, а правда! Твой дохтур Данила по ночам не спит, змей да ящериц кипятит, а потом яд в скляницу сливает, а мясо их в стеклянных посудинах на полки ставит — про всякий случай бережет.

Царь и рукою замахал с досады, как бы не желая верить этим рассказам. Но многие голоса бояр тотчас подтвердили слова боярыни-мамы.

— Нет, государь! Верно говорит боярыня... Эти все твоего дохтура шашни его холоп своими очами видел и утвердить не откажется.

Сомнение проскользнуло в очах царя, и радостным блеском отразилось в очах зорко наблюдавшей его царевны-сестры.

— Такого дохтура, батюшка-царь, по нашему-то, в розыск бы взять надобно, а не то, чтобы царское здоровье ему доверять, — вкрад-

чиво заметила царица Софья.

— Не доктор он, а кудесник! — подтвердил и боярин Языков.

— Что бы вы мне на доктора Данилу ни наговаривали, — отозвался на все это царь, стараясь сохранить свое достоинство и скрыть волнение, — я вам не поверю. Я сам с ним говорю... И завтра же! Не забудь, Богдан Матвеевич, позвать его завтра ко мне, завтра, после ранней обедни...

— Слушаю, государь всемилостивый, — отвечал боярин Хитрово и, видя, что царь поднимается с места, чтобы идти в столовую палату, добавил, по знаку, поданному царицей:

— А о свадьбе-то, о всерадостной, не порешим сегодня?

— Не сегодня; завтра, может быть, — торопливо проговорил царь Феодор, поспешно прощаясь с сестрой-царицей и с боярыней-матерью. Он видимо опасался связать себя бесповоротным словом.

## В селе Преображенском

Царица Наталья Кирилловна, вторая супруга «тишайшего» царя Алексея Михайловича, ненавистная мачеха всей семьи царя от первой жены Марьи Милославской, обрелась при царе Феодоре в немилости и забвении и жила вдали от двора, в захолустном селе Преображенском, где был выстроен более чем скромный, небольшой дворец. Там, окруженная небольшим двором, беззаветно преданных ей «ближних» людей, она занималась воспитанием двух своих дорогих и милых детей: сына-царевича Петра и дочери-красавицы Натальи. Сыну-первенцу в тот год минуло десять лет, а дочке наступал восьмой годик. Намеренно и грубо устраненная от всех семейных торжеств и празднеств своими заносчивыми падчерицами, она являлась ко двору весьма редко, большею частью только в те дни, когда по заведенному обычаю, служили во дворце поминальные обедни по царе Алексее Михайловиче. Но даже и в эти скорбные

дни, даже и за поминальными трапезами по своему покойном муже, молодая царица встречала такой сухой и холодный прием от детей и родни мужа, что не знала, как дожидаться минуты отъезда из опостылевшего ей Теремного кремлевского дворца в свое глухое, уединенное и тихое Преображенское. В особенности горько и больно было царице Наталье Кирилловне видеть, что в ее забвенном и приниженном положении ей приходится терпеть обиды и оскорбления не только от детей Милославской, но даже и от той челяди их, которая возвысилась из тьмы и ничтожества вместе с воцарением сына Милославской — царя Феодора. Из этой челяди враждебнее всех относилась к ней и к ее детям уже известная нам мамка государева, боярыня Анна Петровна Хитрово. Под внешнею личиною униженного почтения и усерднейших услуг и поклонов, эта змея-баба всегда умела очень больно и чувствительно уязвить сердце падшей царицы и сердце матери. То она встречала царицу таким приветствием:

— Вот, государыня, на тебя и посмотреть-то любо! Наш царь-батюшка, воспитан-



ник-то мой, от забот все худеет, а тебя Бог поберет — что вдоль, что поперек!

То, подходя к ручке царевича Петра и царевны Натальи, говорила им в виде ласки:

— Красавчики вы мои! Красивые вы детушки! Матери-царицы утеха! Ничем вы на батюшку, блаженной памяти, не похожи — вышли вы личиками в Нарышкинский род!

Благодаря такого рода отношениям, царица Наталья Кирилловна езжала в Теремной дворец только по принуждению, по крайней нужде, и притом старалась ездить одна, не захватывая с собой детей. У ней даже сложилось в душе нечто вроде такого предрассудка, что возить туда детей ей вовсе не следует, из опасения «сглаза» и «порчи»...

«И меня, и их там так ненавидят, — думала не раз царица Наталья Кирилловна, — что готовы были бы со свету сжить, так что тут и до сглазу, и до порчи, и до всякого дурна недалеко... Особенно эта змея-подколотная, — эта боярыня-мама! У той, кажется, яд и из очей светит, и с уст ее окаянных брызжет...»

И вот, в последний раз, как-то на днях была царица Наталья Кирилловна с царевичем

Петром в Кремлевском дворце, поздравляла царя Феодора с днем рождения, и просто отбиться от боярыни-мамы не могла; та так за царевичем следом и ходит, так ему в уши и трубит:

— Расцвел ты, царевич, что маков цвет! Щеки-то у тебя, как у красной девицы. Я на тебя не насмотрюсь... Видно, здоровьица тебе Бог по весь твой век наделил...

И только вышла царица с царевичем на Постельное крыльцо, как он ей уж шепчет:

— Мама! У меня что-то вдруг голова разболелась...

У матери-царицы сердце так и екнуло. Сели в крытую колымагу, а царевич опять к ней на плечо припал, и говорит опять:

— Ох, мамочка! Болит моя головонька. Точно я угорел...

Мать-царица стала его головку к груди прижимать, ласкать его, в кудрявых волосиках его стала пальцами перебирать — и заснул сынок у ней на коленях, да так тревожно, так беспокойно: мечется, про себя что-то бормочет, кого-то от себя гонит... Царица уж сама себя не помнила, когда они до Преобра-

женского доехали.

Внесли царевича полусонного в его опочивальню, уложили в постель; видят, весь горит, глаза какие-то мутные стали... Не отходит от него мать-царица, и все думает:

«Сглазила его проклятая, ехидная баба».

Само собою разумеется, сейчас все меры приняла: и святой водой царевича sprysнула, и с уголька его обдула, и ладаном в комнате покурила и Богородицкой травки ему испить дала... А царевичу все нет лучше!

К вечеру стало его знобить; бьется в постельке, кричит:

— Холодно, холодно! Ой, как холодно!

Укрыли царевича шубкой, напоили теплой малиной — и на время он как-будто успокоился. Успокоилась и царица, и все ее боярыни и вся служня.

— Ну, авось либо, матушка, Бог даст, все обойдется!

— Авось все сном пройдет! — слышалось около царицы.

Однако же, она не захотела сына на ночь покинуть: велела себе постлать постель рядом с его постелькой, как ее ни отговаривала

ее комнатная боярыня. И долго, и горячо молилась она в тот вечер в своей моленной о своем дорогом сыне, о своем единственном утешении.

Большая половина ночи прошла тихо и спокойно; но под утро царевич Петр стал что-то покашливать, потом вдруг вскочил на постельке и со страхом, с дрожью и слезами в голосе, говорил матери:

— Ай, мама! Душит меня, душит кто-то.

— Бог с тобой, дитяtko! Что ты? Вот испей святой водицы! Угомонись!

Царевич с трудом пропустил глоток воды и оттолкнул от себя свою любимую серебряную чарочку.

— Не могу! Не могу — больно глотать! — шептал он, уже почти теряя голос.

А глаза у самого так и бегают, так и горят — тревожные, беспокойные...

Царица приказала позвать отца и братьев; вместе с ними пришел и дядя царевича — князь Борис Алексеевич Голицын. Рассказала им со слезами царица о своем горе — стала просить совета.

И старый Кирилл Полуэктович Нарышкин,

и все юные сыновья его, братья царицы, молчали, повеся головы... Один князь Борис не растерялся.

— Надо, матушка-царица, не мешкая, за дохтуром нарочного послать — за Данилой, пусть тотчас едет; царевич, мол, опасно болен, — сказал князь.

И царица, и отец ее руками всплеснули и в один голос заговорили:

— Как можно! Что ты, князь? Да ведь он царский дохтур, ведь он нашего царевича зельем опойт!

— Нет, государыня! — смело возразил князь Борис. — Дохтур Данила честный человек, и знающий! Ничем он царевичу вреда не сделает. За него я головой ручаюсь!

И таки переспорил — настоял на своем. Мигом помчал во весь дух нарочный за доктором. А царевичу все хуже да хуже. Лежит в жару, весь красный, лежит пластом; уж и говорить ничего не может, и голоса нет... Только когда мать-царица наклонит ухо к самым его устам, он чуть слышно шепчет ей:

— Душит... Глотать слюны не могу...

Все собрались около царевичевой кровати

ки; все сидят, слезы роняют — удержать не могут, видя, как мать-царица по любимом детище убивается... А детище уж пласточком лежит, только стонет...

В томительном, ужасном ожидании прошло так часа три-четыре; подходило время к полудню, когда поставленные по дороге к Москве вершники прискакали сказать, что дохтур едет.

— Евонный мерин, евоная одноколка!

Четверть часа спустя, боярыня-мама докладывала царице Наталье Кирилловне, что дохтур Данила светлых очей царевича желает видети.

— Ох, уж какие тут светлыя очи! Помутились эти оченьки, — проговорила царица со слезами и приказала позвать дохтура Данилу.

Он вошел, поклонился с обычным достоинством, поздоровался за руку с князем Борисом и был тотчас введен в опочивальню царевича.

— Я бы просил, — сказал он, обращаясь к князю вполголоса, — чтобы отсюда вышли все лишние лица; тут слишком много народа. Пусть здесь останется мать-царица, вы и еще

два-три лица, для необходимой помощи.

Князь Борис передал желание доктора Наталье Кирилловне, и опочивальня царевича опустела разом. Тогда доктор засучил рукава своего широкого кафтана, осмотрел и ощупал царевича, приподнял его к себе на колени, взглянул ему в горло — и покачал головой.

— Царевич в большой опасности, — сказал он князю Борису. — У него с правой стороны горла огромный нарыв, а другой, такой же, образуется слева... Нарыв нужно проколоть — иначе он через два-три часа задушит царевича.

Князь Борис, оставив ребенка на руках доктора, подошел к царице и шепотом пояснил ей сказанное доктором. Царица, в отчаянии ломая руки, бросилась к постельке царевича и почти крикнула:

— Прокалывать! Резать нарыв! Нет! Ни за что, ни за что! — и она обхватила ребенка, как бы стараясь защитить его своим телом.

Доктор бережно положил его обратно в постельку и, опуская рукава кафтана, проговорил не совсем спокойным голосом:

— Тогда мне здесь нечего делать, государы-

НЯ!



ВЕРСИЯ: ЮРИЙ С. ПИЛСКИЙ. ИЛЛЮСТРАЦИЯ: А. П. ПИЛСКИЙ. 1917 г.

И вдруг царевич сам рванулся от матери и протянул рученьки к доктору, как бы умоляя



его о спасении. Пораженный изумлением, доктор указал на это матери и князю.

— Вы видите? Он не боится укола, он его желает. Умоляю вас, государыня, не теряйте времени, — через полчаса будет уже поздно...

Едва-едва удалось уговорить царицу, чтобы она дозволила произвести разрез нарыва. Но зато она настояла на своем, чтобы разрез был произведен при ней, и сама принимала участие в приготовлениях к страшному, неслыханному в царской семье, делу. По требованию доктора, поданы были серебряные рукомойники с водою и льдом, запасные убрусы и тазы. Князю Борису, накрыв его до горла простыней, доктор поручил держать царевича за голову, двум стольникам — за ручки и ножки. Царевич всему подчинился беспрекословно и смотрел во все глаза на доктора, следя за каждым его движением. С другой стороны, так же зорко, но трепетно и с опасением, следила за врачом-иноземцем царица Наталья Кирилловна. В ее воображении рисовалась страшная картина: вот-вот доктор возьмет нож и вскрыет горло царевича. Она, среди этих страшных мыслей, даже и не заме-

тила, как из небольшого карманного футляра доктор Данила вынул что-то, чуть приметное между его большими пальцами, и, наклонившись к ребенку, открыл ему рот.

Царица схватилась обеими руками за голову и зажмурила глаза от ужаса... И вдруг раздался пронзительный, раздирающий крик ребенка... Царица бросилась к нему — и что же видит? Доктор держит его голову над тазом, а из горла царевича Петра широкою струею течет кровь и гной и какая-то бурая пена...

— Злодей! — вскрикнула на смерть перепуганная мать и как тигрица бросилась к доктору.

— Успокойтесь, государыня, — сказал он ей твердо. — Ваш сын спасен. Нарыв прорезан благополучно...

## VI Козни

День торжества фон-Хадена был днем тяжелых тревог и забот для его детей... Эти тревоги и заботы начались с утра, вскоре после отъезда доктора в Преображенское. В то время, когда Лизхен, прикрыв свое простенькое домашнее платье опрятным передничком, хлопотала по хозяйству на кухне, внимательно следя за каждым шагом двух прислужниц, ей пришли сказать, что из дворца приехал пристав и требует доктора Данилу к царю. И дочь, и сын фон-Хадена, почти выросшие в Москве, отлично говорили по-русски; но так как сын Михаэль (русские звали его просто Михайлом Даниловичем) был уже на службе в царской аптеке, то с приставом вышла объясняться Лизхен.

— Благоверный государь, царь Феодор Алексеевич немедля требует к себе доктора Данилу, — пробасил важный пристав.

— Батюшки дома нет; уехал к больному царевичу в Преображенское.

— А нам какое дело? Царь требует — надо, чтобы тут был.

— Так пошлите в Преображенское.

— И без твоего совета обойдемся; знаем, что нам делать, — многозначительно сказал пристав, — и ушел.

Не прошло и часу — приехал стольник из дворца, человек нахальный и грубый.

— Доктор Данила дома?

— Нет. Он в Преображенском, — отвечала уже сильно встревоженная Лизхен.

— Как он смел туда поехать, не спросясь у боярина Куракина?

— Да за ним оттуда прислали нарочного; царевич Петр там очень заболел...

— А ему какое дело? Он царский доктор — до царя ему и дело! А царевича лечить без царского дозволения не должно...

— Я уж, право, этого не знаю, — сказала растерявшаяся Лизхен, — знаю, что просили сейчас приехать...

— Ну, мы так и боярам и царю доложим, что доктора Данилы с собаками не сыскать!

Повернулся спиною да и был таков. Лизхен, конечно, в слезы. Ей представились вся-

кие страхи: и выговоры, и неприятности отцу по службе, и Бог весть какие грозы.

Однако же хлопоты по хозяйству отвлекли молодую девушку от ее тревог; пришлось и в сад, и в огород заглянуть, где работали бабы, и в кладовой побывать; а затем и в погреб пойти, посмотреть на запасы. И только она переступила порог погреба, как услышала за стеною его, в закоулке между погребом и амбаром, как кто-то разговаривал с Прошкой, видимо стараясь понизить голос:

— Ты только нам этих самых гадов-то добудь — уж мы тебе заплатим, и угощенье наше будет.

— И давно бы добыл, да мне никак не улучшить времени... Все кто-нибудь торчит там, около его покоя... Не то давно стянул бы!..

— А вот сегодня? Попробуйся, пока его нет дома.

— Разве что сегодня?..

— А главное, как мы его к розыску да к спросу притянем, так ты все покажи, как есть... Как мне ты сказывал...

— Вестимо, все покажу! Чего мне немца-то жалеть... Пусть пропадает...

На Лизхен вдруг такой страх напал, что она чуть в обморок не упала; руки, ноги затряслись, как в сильной лихорадке, — блюдо с мясом, которое она держала в руках, выпало и разбилось вдребезги.

Голоса за стеною тотчас смолкли.

Лизхен без оглядки бросилась из погреба в дом. Она поняла из этой тайной беседы за стеною, что против отца ее затевается какой-то заговор, что Прошка в этом заговоре является предателем, что он хочет что-то взять, унести из его комнаты в качестве вещественного доказательства, которое кому-то нужно, чтобы затеять дело против ее отца — «розыск».

— «Розыск»!.. Господи! Какое страшное слово! Ведь при «розыске» мучат людей!..

И Лизхен бежала опрометью к дому через двор, как бы боясь опоздать, опасаясь того, что Прошка ранее ее попадет в хоромы. Прибежала, бросилась к дверям отцовской комнаты и прежде всего замкнула их на ключ, а ключ спрятала в своей опочивальне под подушку. При этом она дала себе слово ни шагу не ступить из дома до прихода брата или возвращения отца из Преображенского.

Ее опасения оказались основательными и предосторожность далеко не излишнею.

Не прошло и получаса с тех пор, как она вернулась из погреба и села у окошечка угловой, вдруг послышались в сенях осторожные шаги чьих-то босых ног. Потом легонько скрипнула дверь в среднюю, чистую комнату, и шаги направились к дверям рабочей комнаты отца. Тут Лизхен собралась с силами, отворила дверь угловой и очень громко, хоть и не совсем твердо, спросила у Прошки, который уже брался за замок отцовской двери:

— Что тебе здесь нужно? Зачем тебе туда идти?

Прошка дрогнул от неожиданного оклика, однако же оправился и огрызнулся:

— Знаю я, что мне нужно... Тебе какое дело?

И стоит около двери и не отходит.

Тут Лизхен вдруг вскипела гневом и выказала неожиданное мужество дочери, защищающей отца.

— Вон отсюда, негодяй! — закричала она во весь голос, смело наступая на Прошку. — Я знаю, ты воровать туда идешь! Вон — или я

кликну сюда всех людей и велю тебя сейчас связать!

Прошка струсил и съежился.

— Что ты? Что ты, боярышня, — пробормотал он, отступая. — Там у господина плотничий инструмент, а я телегу лажу, так вот хотел...

— Сейчас убирайся вон! И чтобы духу твоего здесь не было! — еще громче прежнего крикнула Лизхен, становясь у двери отцовской комнаты. — Дверь заперта, а ключ у бабюшки взят с собою!

— Ну, коли гонишь меня, я и уйду, пожалуй! — сказал Прошка, пятясь к дверям сеней. — А уж телега пусть так...

И вышел не солоно хлебавши. А Лизхен после такого усилия воли, к которому она была вынуждена, опять так ослабела, что залилась слезами и долго плакала, хоть и была внутренне довольна собою и сознанием того, что она защитила своего отца от темных козней.

Когда к обеду вернулся ее брат из царской аптеки, она все поспешила рассказать ему, и они долго обсуждали вместе то положение, которое отец их занимал при дворе, между



двух партий — между двух огней. Оставшись в раннем детстве сиротами после смерти матери, они выросли на руках отца, которого просто боготворили, о котором постоянно заботились и думали, как о самом дорогом, как о единственно милom существе, какое у них было на свете. Потому и неудивительно, что этот эпизод с Прошкой они тотчас же приняли в расчет и стали соображать, чего они могут опасаться за своего отца.

— Это ясно, милый Михаэль, что кто-то хочет повредить отцу перед царем; кто-то хочет обнести его — оклеветать, и для этой цели подкупает его слугу.

— Но кто? Вот вопрос! Царь постоянно так благоволил к нему, так к нему был ласков, милостив...

— Даже дружен! Даже часто засылал к нему, чтобы и запросто с ним побеседовать... И так любил послушать рассказы отца о чудесах природы...

— Милость царя еще менее надежна, чем всякое иное счастье... И сам отец мне проговорился при последнем разговоре, что есть вопросы, в которых он не смеет покривить со-

вестью... Вот это и возбуждает многих против него. Кстати, сестрица, где же этот негодяй? Я должен видеть его и расспросить подробно...

— С той минуты, как я его отсюда выгнала, он сюда не появлялся более, а на дворе я его не видала.

Но Прошка оказался легок на помине; как раз в то время, когда о нем шел разговор, калитка хлопнула, и Прошка ввалился во двор пьянешенек.

Шатаясь на ходу и выписывая самые курьезные «мыслете» ногами, он направился прямо к дому и, придерживаясь за перила, стал карабкаться на крылечко.

— Ах, Боже мой! Да он сюда идет! Милый Михаэль, посмотри-ка. Я так боюсь пьяных!

— Не бойся, сестрица! Он не войдет сюда, — я тебе за это ручаюсь... Если я здесь, то тебе нечего бояться.

И крепкий, высокий юноша, поднявшись с места, направился в сени, к входным дверям. С Прошкой он повстречался на пороге и загородил ему путь в дом.

— Куда лезешь? Зачем? — спросил он хладнокровно.

— Затем, чтобы взять отца твоего за приставы!.. В железо заковать его!.. Он!.. он отравитель!.. Я сам видел — как яд готовил!.. Змей кипятил... Я докажу... я все докажу... Да тыпусти меня... я на тебя не посмотрю! — и он рванулся было вперед, но в то же мгновение полетел кубарем с крылечка от ловкого удара юноши.

— Эй, люди! — громко крикнул Михаэль. — Свяжите пьяницу, да бросьте в клеть — пускай проспится.

## VII

# Наветы врагов

Царь Феодор Алексеевич уже второй день мучился тяжкими сомнениями. Доктора Данилу он не только любил, но даже привык уважать и притом еще привык нуждаться в нем, как во враче, которому он верил вполне, потому что не раз испытывал от него облегчение в своем тяжком, неизлечимом недуге. Он полюбил его и научился ценить еще и потому, что доктор Данила, первым из докторов-немцев, сумел быстро научиться говорить по-русски и даже настолько овладеть русской речью, что с ним возможна была беседа, в которую царь вступал охотно, и много раз выносил из нее самое отрадное впечатление. Особенно нравилась царю та честная прямота и правдивость, с которою он, как доктор, относился к недугу своего пациента; он не скрывал от него серьезности, даже опасности его положения, и прямо говорил, что этот недуг исцелить нельзя, а можно только облегчить, ослабить ход его развития... Разум-

но и спокойно объяснял он царю значение и силу каждого лекарства, которое ему прописывал...

«И что же это вдруг с ним случилось?» — думал царь Феодор. — «Я его в последнее время, право, узнать не могу! Он все молчит со мною, все спешит уйти... Не то, что прежде! А, кажется, я ничего для него не жалел — ни награда, ни денег!..»

И в сознании царя Феодора сейчас возникал этот роковой вопрос о втором браке... Он льстил себя надеждами на возможность грядущего семейного счастья; он думал найти в браке утешение в той тоске, которую оставила у него на сердце преждевременная кончина молодой, прелестной, любимой жены...

«И Марфа Матвеевна сулит быть мне доброю женой... Мне с нею будет веселее, чем теперь... А на душе повеселее да посветлее станет — и телу будет легче!.. Так и все мне говорят, что с молодою женой я и сам помолодею и здоровей буду... Один только доктор Данила...»

И опять наветы врагов и завистников царского доктора, напетые в уши царю Феодору

Алексеевичу, начинали тревожить его слабую душу и принимать форму подозрений, которые так усердно поддерживались общими, дружно-соединенными усилиями близких к царю людей и свойственниками молодой царской невесты-красавицы... Царю невольно припоминались эти наветы.

«Не верь ему! Нарышкиными он подкуплен! На их сторону перекинулся... А те захотят ли тебе добра?.. Захотят ли видеть продолжение твоего рода!..»

Но царь Феодор старался не поддаваться, не подчиниться влиянию всех этих непрошенных, корыстных доброжелателей... Ему хотелось вызвать доктора Данилу на решительное объяснение, прежде чем сделать последний шаг — назначить день свадьбы... И вот он, рано утром, приказал позвать к себе доктора Данилу, назначив ему час после обеда...

— Еще чуть свет уехал в Преображенское, — докладывают царю ближние бояре.

— В Преображенское? Без спроса, без дозволения?

— Что ему спрос! Он там теперь и днюет, и

ночуется! — докладывали царю услужливые его думцы и советники.

Ядовитая стрела впиалась в сердце царя Федора; но он сдержался и смолчал, стараясь тщательно скрыть то, что в его сердце происходило.

Два часа спустя, он снова послал стольника в дом доктора Данилы, и стольник возвратился с тою же вестью:

— Домой еще дохтур не бывал! Да и домашние не знают, будет ли сегодня.

Чаша терпения царя уже готова была переполниться; гнев и нетерпение начинали брать верх над всеми остальными чувствами. Он отдал спокойным холодным тоном приказ:

«Дохтуру Даниле быть ко мне завтра чем свет!»

\* \* \*

На другой день фон-Хаден явился к вставанью царя, и из отношения к нему царской служни сразу убедился в том, что его положение при дворе сильно поколеблено. Те, которые кланялись ему прежде в пояс, теперь едва кивали головами; а те, которые прежде

благосклонно кивали головами, теперь на него не смотрели или пускали взгляд как-то мимо его. На просьбу доложить государю о приходе доктора по его приказу, фон-Хадену отвечали даже весьма грубо:

— Постоишь, пообождешь... Твое не спешное дело.

На вторичную просьбу доктора о том же ему сказали:

— Царь молится... У него в моленной заутреня... Как отмолятся, да поотдохнет, тогда и доложим...

И так часа два продержали доктора Данилу на ногах, на площадке перед входом в переднюю, и ходили, и сновали мимо его, как бы не замечая даже его присутствия... Наконец, стольник вышел и пригласил доктора в переднюю государеву — и там заставил его еще ждать, пока он был позван в опочивальню.

Переступив порог опочивальни и отвешивая обычный низкий поклон государю, доктор уже успел заметить, что «немилость» его написана на сумрачном и бледном лице юного царя.



Царь ответил на поклон доктора Данилы едва приметным кивком головы, а высокие и сановитые дядьки его, Хитрово и Куракин, только многозначительно переглянулись между собою.

— Что это значит, дохтур Данило? Я дважды за тобой посылал вчера — и ты ко мне не мог явиться? — сказал царь холодно.

— Государь всемилостивейший! От раннего утра и до вечера не мог отойти от больного царевича Петра...

— Ты не мог от него отойти? Кто же для тебя важнее — царь или царевич? И кому ты служишь?

— Осмелюсь доложить твоему царскому величеству, что царевич вчера был на волос от смерти...

Царь вдруг смутился и, обернувшись к дьякам, проговорил нерешительно:

— Отчего же мне об этом не доложили?

— Да болесь-то пустяшная, государь. Ты дохтуру не верь! — дерзко ответил Куракин.

— Такая пустяшная, государь, — скромно и твердо сказал доктор Данила, — что если бы меня призвали часом позже, царевича бы не

было в живых...

Хитрово пожал плечами, а Куракин про-  
бормотал чуть слышно:

— Не велика была бы потеря!

Царь это слышал и поспешил загладить  
грубую выходку своего приближенного, ска-  
зав доктору Даниле:

— Расскажи, как было дело?

И внимательно выслушал его рассказ о бо-  
лезни царевича Петра и о вскрытии у него на-  
рыва в горле.

— А часто ли ты там бываешь — в Преобра-  
женском? — вдруг спросил царь фон-Хадена,  
когда тот смолк.

— Меня туда призывали в первый раз, —  
спокойно отвечал фон-Хаден. — Там нем-  
цев-докторов не любят...

— Как же мне сказали, что ты там частый  
гость? — сказал царь, оглядываясь с неудо-  
вольствием на дядек, которые благоразумно  
хранили молчание.

— Могу заверить, что говорю правду, госу-  
дарь! — сказал доктор Данила.

Царь, видимо, смягчился после этого и  
стал говорить уже не таким сухим и холод-

ным тоном, как прежде. Потом он подал знак своим дядькам, и те вышли из опочивальни, оставив царя наедине с доктором Данилой.

— Осмотри меня! — сказал ему царь Феодор.

Доктор Данила внимательно осмотрел и выслушал царя, подробно расспросил его о последних днях и сказал, что находит значительное улучшение.

Царь Феодор просиял. И после нескольких незначащих вопросов, видимо, с некоторою тревогой, спросил:

— Ну, а что же ты скажешь мне о моей свадьбе? Меня торопят с назначением дня...

Доктор Данила склонил голову и молчал.

— Говори же! Отвечай на мой вопрос! — нетерпеливо повторил царь.

— Государь! Дозволь мне не говорить по этому вопросу ни слова... Лжи говорить я не умею, а правдою боюсь тебя прогневить... И так уж у меня врагов довольно!..

— Говори всю правду! Я приказываю...

— Не смею тебя слушаться... и остаюсь при своем прежнем мнении...

Царь с нескрываемою досадою пожал пле-

чами.

— Сам ты находишь, что мне лучше... А о свадьбе твердишь все то же... Странно!

Наступило мгновение очень тяжелого и неловкого молчания, после которого царь Федор вдруг опять нахмурился, и, как бы совершенно случайно, спросил у фон-Хадена:

— А правду ли мне говорили, будто ты змей и гадов всяких собираешь и сушишь — и яд их кипятишь? Зачем ты это делаешь?

— Змей и гадов я точно собираю — ради любопытства, и для науки их сушу и храню в сосудах... А яд змеиный кипятить — нет цели! Яд змеиный только в крови опасен, при укушении, а так, его глотать можно безвредно...

Царь плюнул с омерзением.

— И ты? Ты сам-то пробовал глотать?

— Пробовал, государь, для науки...

— Да ведь это же все нечисть! Это все проклято искони веков! — почти гневно и с укоризною проговорил царь.

— В природе все создано Единым Творцом, и нет ничего проклятого...

— И эти твои затеи никому не могут повредить?

— Никому, государь. Но дозвожь мне просить тебя о великой милости?..

— Что такое? О какой милости! — с неудовольствием сказал царь Феодор.



«Земля на Москве, земля на Москве, земля на Москве...»  
Москва на развалинах...

— Я вижу, что в тебе поколебали доверие ко мне... А без доверия какое уж лечение? Здесь, на Москве, есть доктора не хуже меня... Дозволь же мне удалиться из Москвы на родину.

— Как? Раньше окончания договора?

— Хотя бы и раньше!.. Если я не могу быть тебе ни приятным, ни полезным — зачем я буду пользоваться большим окладом жалованья и твоими щедротами?

Царь нахмурился окончательно и проговорил сухо и гордо:

— Хорошо. Я о твоей просьбе подумаю... Я дам тебе ответ — на днях...

Царь поднялся с места и застучал в пол своим посохом, чтобы вернуть дядек в опочивальню.

## VIII

# Ложь торжествует

У Михаэля фон-Хадена был закадычный друг — его сверстник по летам, Адольф Гутменш, сын доктора Гутменша. С ним Михаэль видался непременно дважды в неделю: раз принимал его у себя и раз бывал у него в Немецкой слободе, где Адольф Гутменш, отличный музыкант, служил помощником органиста при лютеранской церкви. Приезжая к фон-Хаденам, он привозил с собою ноты и скрипку, и они, втроем с Лизхен, отлично проводили время, то весело и непринужденно болтая, то занимаясь музыкой. Адольф и Лизхен (у которой был недурной голосок) пели духовные хоралы, а Михаэль аккомпанировал им на скрипке. Случалось, что их пение выманивало и доктора Даниэля из его ученого кабинета и отрывало его от книг и занятий с разными препаратами — и время проходило так хорошо, так приятно, что все жалели, когда приходилось расставаться.

— Ты очень любишь... музыку? — спра-

шивал иногда Михаэль у сестры, когда Адольф под окном садился на коня и кивал им головою, съезжая со двора.

— Ах, да! Я очень, очень люблю... музыку, — отвечала сестра брату.

— Музыку, с Адольфом? — продолжал допрашивать брат, лукаво прищурив глаза.

— Ну, да, с Адольфом!.. Я ни с кем больше не пою.

— Еще бы! У вас так согласно, хорошо выходить... И я уверен, что если бы вас теснее соединить...

Лизхен краснела, зажимала уши и убегала к себе в комнату.

Но все же, в один прекрасный день, достав какой-то очень трогательный хорал, Адольф Гутменш не вытерпел и сказал доктору Даниэлю:

— Папа фон-Хаден, мне бы надо поговорить с вами об одном дельце...

— Что ж? Пойдем ко мне, Адольф?

И ушли и даже заперлись на ключ, и ни брат ни сестра не слышали, о чем они там разговаривали; но Михаэль чему-то все улыбался, поглядывая на Лизхен, а Лизхен, красная,



как маков цвет, все старалась не смотреть на брата.

Полчаса спустя дверь из рабочей комнаты отца отворилась, и отец поманил к себе Лизхен, которая почему-то оглянулась в его сторону.

— Михаэль! — сказал доктор весело, — теперь и от тебя не может быть секретов: этот молодой музыкант хочет подобрать себе хороший дуэт, и никого не нашел для этого лучше твоей сестры. Только вот не знаю, будет ли она согласна?

Вместо ответа, Лизхен положила свою руку в руку Адольфа и сказала:

— Я согласна только с одним условием: чтобы все мы жили вместе.

Тогда же было порешено известить об этом папа Гутменша, а свадьбу отложить до того времени, когда Адольф будет повышен из помощников органиста в органисты.

Все это происходило почти за месяц до начала нашего рассказа, и друзья оставались по-прежнему друзьями и видались два раза в неделю. И духовные хоралы, под аккомпанемент Михаэля, распевались, кажется, еще

стройнее прежнего. И вот, как раз на другой день после оскорбительной и неприятной аудиенции, данной царем доктору Даниэлю, Михаэль отправился, по обычаю, в гости к своему другу в Немецкую слободу.

Гутменш-отец, пробавлявшийся врачебною практикой почти исключительно в среде населения Немецкой слободы, жил, конечно, гораздо беднее фон-Хадена, царского (да еще любимого!) доктора. Он и смотрел на своего счастливого коллегу с подобострастным уважением и с тайною завистью... Когда из уютного домика фон-Хаденов он возвращался в свой маленький и невзрачный домик, в котором он жил с сыном и со старою экономкой, он, бывало, всегда говорил:

— Да! Вот если бы мне доходы Даниэля фон-Хадена, да его бы положение, да его бы домик! О-го-го!

Само собою разумеется, что он был чрезвычайно счастлив, когда фон-Хаден согласился выдать дочь свою замуж за его сына — и более чем когда-либо заискивал в своем старшем коллеге и ухаживал за его сыном, когда тот приезжал в гости к Адольфу.

На этот раз, однако же, когда Михаэль подъехал верхом к воротам маленького домика, в котором Гутменшы занимали наемное помещение, никто не вышел взять от него лошадь; он уж сам привязал ее к кольцу у ворот... и только тогда, когда Михаэль входил в калитку, Адольф вышел ему навстречу взволнованный и расстроенный.

— Что с тобою, друг Адольф? — спросил его Михаэль.

— Ах! Не спрашивай меня! Я, право, не знаю, что тебе сказать — и сам еще прийти в себя не могу!

— Да что? Что такое? Скажи мне, как другу!

— Отец мой, Готлиб Гутменш — изволите ли видеть — рехнулся.

— Как — рехнулся? Что ты это?

— Да вот погоди! Я расскажу тебе все дело по порядку. Вчера вечером вдруг прислали за ним колымагу из Теремного дворца и потребовали его к царю Феодору Алексеевичу... Можешь сам представить, что с ним случилось? Он не знал, какой кафтан, какую шапку надеть? Но пристав так его торопил, что он, кажется,

так и уехал без шапки... А вернулся оттуда просто неузнаваемый! Вырос на целый аршин, стал говорить каким-то густым басом... Все «царь» да «царь» на языке. И если верить его рассказам, то оказывается, что его звали во дворец на консилиум... по поводу женитьбы государя... Ах! да вот он и сам — и сам тебе все расскажет.

Действительно кто-то подъехал к воротам и вошел в калитку.

— Эй! Кто там?! Возьмите с меня плащ! Оглохли, что ли?! — кричал еще из сеней Готлиб Гутменш.

Минуту спустя, он уже входил в среднюю комнату, разряженный в самый новый свой кафтан, с большим достоинством закидывая назад голову и выпячивая вперед грудь.

— А! Здравствуйте, здравствуйте, милейший мой господин Михаэль! — проговорил он весьма покровительственно, протягивая ему три пальца. — Можете меня поздравить: — я теперь при государе на месте вашего отца! Да — я! Меня вчера пригласили на консилиум, спрашивали моего разрешения, а я, конечно, сказал, что удивляюсь, как мог затруд-

ниться в разрешении этого вопроса ваш отец... Я тотчас же разрешил все их сомнения, и мне приказано бывать у государя два раза в день... Ну, конечно, обещали жалованье и награды... соответственно положению. А правда ли это — я слышал — ваш отец уж получил указ об отъезде за границу?

— Я ничего подобного не слышал и не знаю, — сказал Михаэль с некоторым изумлением.

— Как же, как же! Все это говорят! Ну, что же делать!.. Конечно, это должно будет расстроить партию моего сына; но пусть мой бедный фон-Хаден не тревожится...

— Батюшка! Я вас не понимаю! — вспыхнул Адольф. — Ничто не может расстроить моей свадьбы с Лизхен!

— Да, но как же это соединить? Семья фон-Хаден уедет за границу, а мы с тобою... мы должны здесь остаться, на службе при дворе. Нам предстоит при дворе...

— Оставьте вы меня в покое с своим двором! — чуть не крикнул Адольф. — Вы мне уж этим уши протрубили!

— Ты — глупый юноша! Не более! Ты не

понимаешь того положения, которое я занял при государе! Знаешь ли ты, что от одного моего слова зависела свадьба государя. Меня спросили — и я разрешил! Мне говорят: нельзя ли несколько подкрепить силы государя — и я говорю: не беспокойтесь, я подкреплю! Говорят — одышка там и сердцебиение; я говорю: — все пустяки, я все это улажу! А ты — ты как на это смотришь?

Вместо ответа, Адольф схватил под руку Михаэля и увлек к себе в комнату, в которой заперся с другом своим на ключ.

# IX

## Тяжкая расплата

Несколько дней спустя, 14 февраля 1682 г. тихо, по-домашнему и в домашней церкви, без всякого торжества и блеска, совершенно было бракосочетание царя Феодора Алексеевича с Марфой Матвеевной Апраксиной. В городе только на другой день об этом событии узнали и рассказывали по поводу его всякие небылицы.

К доктору фон-Хадену из дворца не присылали и не обращались ни за советом, ни за спросом; но и об отпуске его за границу тоже никаких распоряжений не было сделано. Впрочем, сам доктор Даниэль был ко всему приготовлен и совершенно спокойно, сидя дома, выжидал своей участи, то занимаясь в рабочей комнате чтением своих любимых ученых авторов и различными опытами, то разбираясь в своей кладовой, где у него хранилось очень много дорогих лекарственных трав и растений. Гутменш к нему и носу не показывал; но через Адольфа (который про-

должал по-прежнему бывать в доме своего будущего тестя) он узнавал все новости о своем ветреном и заносчивом коллеге. Оказывалось, что при дворе его очень ласкали, и к свадьбе выдали ему большую награду — соборьями, куницами и белками на триста рублей и посулили, в случае «если все обойдется благополучно», подарить ему дом в Белом городе и поместье под Троицкою обителью.

— Если все обойдется благополучно? — повторил многозначительно доктор Даниэль. — А если все окончится очень плохо — тогда не посулили снять голову с плеч долой?

Так минула еще неделя после свадьбы государя, и доктор Даниэль уже собирался заглянуть в Аптекарский приказ и справиться там, какие относительно его будут сделаны распоряжения, как вдруг дело выяснилось само собою.

Март был уже почти на дворе. Начались уже ясные дни, и чувствовались в воздухе те весенние пригревы, которые в марте бывают так часто. Доктор Даниэль стал каждое утро выходить в сад и разгребать лопатой снег, еще лежавший толстым слоем на грядках... И



вот в одно такое тихое и ясное утро, когда доктор вышел на крылечко своего дома и взялся было за лопату, — он услышал, что кто-то подъехал к воротам и стал нетерпеливо стучать кольцом калитки.

— Ступайте, отоприте, — приказал доктор кому-то из холопей, сновавших по двору.

Побежали, отперли калитку, и каково же было удивление доктора Даниэля, когда в калитку чуть не бегом и в больших попыхах ворвался доктор Гутменш и, увидев своего коллегу на крылечке, метнулся к нему со всех ног.

— Здравствуй, коллега! — сказал ему доктор Даниэль по-латыни и дружелюбно протянул ему руку.

— Здравствуй, здравствуй... Но, пожалуйста — я к тебе заехал только на минутку, и сейчас должен уехать... Пожалуйста, пойдём скорее в комнаты... Мне очень нужно с тобою поговорить.

— Изволь, изволь, любезный коллега! — сказал фон-Хаден, с улыбкой всматриваясь в встревоженное лицо Гутменша и заранее предугадывая причину его приезда.

Когда они вошли в дом, фон-Хаден, введя коллегу в столовую, сказал ему шутливо:

— Может быть, у тебя дело не очень важное — семейное — и мы могли бы здесь потолковать о нем за кружкой пива?

— Нет, нет!.. Какое же семейное, коллега?! — и, наклонившись к самому уху фон-Хадена, прошептал: — «Дело государственной важности».

— Ого! Ну, так пойдем ко мне, — и ввел Гутменша в свою рабочую комнату, тщательно притворив за собою дверь. Там опустился он в свое кожаное кресло и указал коллеге место против себя.

— Ну, говори! Готовлюсь тебя слушать, — сказал он Гутменшу, потирая руки.

— Ах, дорогой коллега, право, не знаю, с чего начать! — весьма приниженным и заискивающим тоном заговорил Гутменш. — У меня голова кругом идет от этого... от того...

Фон-Хаден не старался нисколько вывести его из затруднения и потешался над его смущением.

— Вот, видишь ли, в чем дело! — здоровье царя было все время очень хорошо и даже,

можно сказать, удовлетворительно, и он был мною очень, очень доволен... Но вот теперь... теперь Бог весть почему... оно начинает изменяться...

Фон-Хаден все молчал и слушал, перебирая пальцами сложенных рук.

— Изменяться, — продолжал запинаясь Гутменш, — к худшему... Явилась бессонница... Пот по ночам... и... и... истощение сил, а вот вчера на ночь... и кровохарканье...

— Жаль мне царя! — с неподдельным чувством проговорил доктор Даниэль. — Конец, очевидно, близок.

— Как? Конец!? — вскричал Гутменш, вскакивая с места и хватаясь за голову.

— Просто конец — тот общий нам конец, который у всякой жизни, и у царской, и у нашей, всегда бывает один.

— Нет! Это невозможно! Невозможно! — твердил Гутменш, бегая по комнате и ероша волосы. «Кто бы мог это так скоро ожидать? Подумай сам... И я... я готов был поручиться, что он проживет многие годы...»

— И неужели совести хватило поручиться?

— Да! Но, конечно, условно... А теперь? Ка-

ково мое положение? Что я скажу? Как покажусь туда?.. Теперь ведь я все могу потерять!.. Я...

— И не только потерять, но еще отправиться в ту страну, из которой вывозят соборей... Бывает и это с неискусными царскими докторами.

— Добрейший коллега! Как тебе не стыдно? Ты войди в мое положение... Ты, я надеюсь, поможешь хоть чем-нибудь...

— Твое положение не вызывает с моей стороны никакого сострадания... Ты получишь только то, чего ты вполне заслужил... Мне жаль царя, который, оттолкнув меня, доверился тебе. А я отлично понимаю, какими средствами ты, потворствуя его прихоти и желаниям окружающих, довел его теперь до его печального положения.

— Бога ради, коллега! Помоги... Если не для меня, то для наших детей, — начал умолять Гутменш, готовый броситься на колени перед фон-Хаденом. — Помоги! Укажи мне, как я теперь должен действовать? Какие средства...

— Против смерти рецептов нет, почтенный коллега.



„Без надежды, конечно! Но что же?”

— Ну, не против смерти... А хоть чтобы оттянуть ее немного... Посоветуй.

— Нет, никаких советов тебе не дам, и не

возьмусь исправлять твои злодеяния! Иначе я и не могу назвать твоих действий, к которым побуждала тебя одна корысть и расчет на награды... Я подожду, пока меня призовут к смертному одру несчастного царя...

В это время на дворе опять раздался усиленный стук в калитку. Холоп едва успел ее открыть, как дворцовый пристав, сунувшись во двор, крикнул:

— Здесь, что ли, дохтур Гутменш? Зови его сюда скорее — во дворец требуют.

Холоп бросился исполнять приказание, а пристав остался у калитки.

— Слышишь? Тебя требуют, коллега! — сказал доктор Даниэль, поднимаясь с места. — Добро пожаловать.

Трудно передать словами то, что выразилось на лице совершенно растерявшегося Гутменша. Он то бледнел, то краснел; его бросало и в жар и в холод... Он весь трясся — и, кажется, готов был скорее провалиться сквозь землю, чем идти к постели своего высокого пациента... Но пристав кричал во дворе, что он ждать больше не будет; холоп торопил доктора, ежеминутно являясь на пороге, и Гут-

менш, ни жив, ни мертв, решился; наконец, отправиться к крыльцу, даже не попрощавшись с доктором Даниэлем, который посмотрел ему вслед и проговорил чуть слышно:

— Тяжкая расплата за ложь и корысть. Не дай Бог никому ничего подобного испытать!

# Х

## «Тайное сидение»

Минуло еще две недели. Совсем повеяло весной. По всей Москве и в ее окрестностях началась ростопель; быстрое таяние снегов и разлитие вод сдерживалось только морозными утренниками. Но среди дня, при ярко-голубом и совершенно безоблачном небе, когда теплый ветерок, повевая, наносил от леса ароматы смолы и древесной почки, когда жаворонки весело и задорно распевали свои песенки, поднимаясь в небесную высь над просыпающимися полями, когда с крыш, гулко и звучно шлепая о лужи, скатывались капля за каплей — о, как хорошо становилось тогда на душе! Как легко дышалось! Как хотелось быть на воздухе, на солнце, на просторе!

Эти чувства хотя и смутно и бессознательно, но в высшей степени сильно и настойчиво испытывал царевич Петр, давно уже оправившийся от своей болезни. Никем не стесняемый, он с утра выбегал на широкий дворцовый двор и тут, окруженный толпою своих



сверстников из детей дворцовых конюхов, неутомимо предавался тем разнообразным играм, которые были плодом его дивного неистощимого воображения. То разбивал он всю свою веселую гурьбу на кучки, которые должны были изображать отдельные полки, и каждой из этих кучек раздавал особые барабаны и знамена — потом строил их в ряды и заставлял проходить мимо себя с барабанным боем и криками:

— Здравие царевичу Петру Алексеевичу!

То делил своих сверстников на две группы, и одна из них должна была изображать «татарву», а другая — «православное воинство»; и так как он сам становился во главе этого воинства, то плохо приходилось от него бедной «татарве».

— Царевич! — обратился к нему один из сверстников, побойчее да посмелее других: — Что это значит, что сегодня к нам бояре из Москвы так разъездились? А?

— Верно, нужно им что-нибудь от матушки? — быстро сообразил царевич. — Кабы не нужно было, не поехали бы сюда!

— Вон, вон и еще колымага катит — боль-

шущая шестериком, и вершники в малиновых кафтанах! — закричало еще несколько голосов, указывая на дорогу.

— Ну, что нам до них за дело... Эй, по местам! — повелительно крикнул царевич, и, повинувшись его голосу, все действительно бросились занимать места, указанные каждому в игре, а о съезде большом и позабыли...

А между тем съезд был большой, и по важному делу... Можно сказать, что тут налицо была вся та партия, которая держала сторону Натальи Кирилловны и ее сына-царевича: и князь Иван Алексеевич Голицын, по прозванию Большой Лоб, и князя Долгоруковы — Яков, Лука, Борис и Григорий — и Яков Никитич Одоевский, и старый князь Михаил Алегукович Черкасский, и старый князь Юрий Долгорукий, с сыном Михайлом Юрьевичем, и бояре Репнин и Троекуров, и трое Ромодановских, и трое Шереметевых, и Шеин... Все съехались в виду наступавшей важной, решительной, исторической минуты. Все съехались с утра, и с утра заседали в передней царицы Натальи Кирилловны, стовариваясь и совещаясь между собою прежде, чем царица

позовет их на «тайное сиденье» в своей моленной. Сговаривались и совещались, и ждали каких-то важных вестей из Москвы.

— Я с патриархом говорил вчера, — тайно полупшепотом сообщал князь Борис Голицын своему брату Ивану и еще двум-трем старейшим вельможам, — так патриарх за нас горой! Так прямо и сказал: «кому ж и царствовать, как не царевичу Петру? Царевича Ивана не могу благословить на царство...»

— Так и сказал? — спросил князь Михаил Алегукович Черкасский.

— Его слова я повторяю без перемены, — подтвердил князь Борис.

— Да если только запросят о царе у всех чинов людей Московского государства, так и задумываться нечего — и загадывать не надо! Наверно, в один голос изберут Петра, — с уверенностью сказал старый князь Ромодановский.

— И кто же решится из вельмож за Ивана голос подать? Никто! — горячо вступился старый князь Юрий Долгорукий. — У них полудюжины преданных людей не наберется: — ну, Голицын Василий, да Милославский-ста-

рик-лиса, да Тараруй, а там — все молодежь, да и то сбродная — с бору и с сосенки...

— Им с нами мудрено тягаться! — заметил кто-то в той же группе.

— Чего же мы ждем? О чем совещаться съехались? — шептались в то же время в другой, более молодой группе.

— Лыкова ждут, князя Иван Михайловича! — слышалось в ответ. — Тот должен свежие вести из дворца добыть!

— Да вот и он! Вон скачет на своем аргамаке! И в хвост, и в голову катит!

— Ну, уж и конь же, братцы мои! Цены ему нет... Гляньте, гляньте-ка, как чешет! Словно бы чует, что важные вести везет!

Весть о том, что князь Лыков едет, успела между тем распространиться между всеми вельможами, бывшими в передней, и все столпились у входных дверей... Каждый желал услышать первый те вести, которые должен был привезти князь. Старые князя — Григорий Ромодановский и Юрий Долгорукий — тугие на ухо, даже приложили к ушам ладони, готовясь не проронить ни одного слова.

И вот, наконец, он вошел, и князь Борис, — в данную минуту хозяин и руководитель положения — прямо пошел к нему навстречу, облобызался с ним, и обращаясь ко всем другим, произнес громко:

— Говори, Михайло Иванович, во всеуслышание, что привез? Здесь между нами предателей нет.

Князь Лыков выступил на середину комнаты и произнес громогласно:

— Князья и бояре! Я видел обоих царских врачей — и доктора Данилу фон-Хадена, и Ягана Гутменша — и оба мне в один голос заявили, что царь на завтра до вечера не проживет...

— А! а! а! — вырвалось невольно из груди всех присутствующих.

— Язык уже коснеет — на завтра соборваться хочет рано утром, — продолжал князь Лыков, — и если дело делать, то надо помнить поговорку «куй железо, пока горячо».

В толпе князей и бояр поднялся говор:

— Вестимо, теперь надо дело вершить, коли сами врагам в верши не хотим достаться...

— Ступай, князь Борис, к матушка-цари-

це, — сказал, как бы от лица всех, князь Юрий Долгорукий. — Доложи ей, что мы все за нее да за ее сына-царевича умереть готовы. Пусть нам укажет, что ей от нас угодно...

— Слушаю, князья и бояре, иду и доложу, — отвечал князь Борис и вышел из передней, где разом водворилось глубокое и торжественное молчание.

Несколько мгновений спустя, князь Борис вышел из внутренних покоев царицы и объявил боярам:

— Благоверная царица Наталья Кирилловна изволит жаловать в переднюю!

Царица вышла за ним следом, в царском вдовьем наряде, и в ее прекрасном взоре изобразилась радость, когда она вновь увидела в своей передней такую многочисленную и оживленную толпу царедворцев и услышала еще раз их дружный клик:

— Здрава буди, благоверная царица, с сыном своим, царевичем Петром; на многия лета!

Царица, взволнованная и тронутая упоминанием о сыне, отвечала на привет глубоким поклоном и заняла приготовленное ей место.

Тотчас князь Борис распорядился поставить у дверей двоих верных стольников, чтобы кто-нибудь не подслушал тайного совещания царицы с боярами. Волнуясь и несколько запинаясь в словах, царица обратилась к собранию с речью:

— Князья и бояре! Что слышу — близится час воли Божией над царем Феодором, и молю Вседержителя Бога, ведущего сердца человеческие и все тайны в них, да простит отходящему в вечность брату нашему все те несправедливости, все притеснения и угнетения, какие пришлось нам от него вынести — мне, сыну моему и роду моему, и тому другу и благодетелю моему, коему я обязана возвышением в царский сан! Да простит Он умирающему... Но мы, живые, о живом должны и думать! Мне, слабой женщине, удрученной горем вдовства, не лестны ни платье царское, ни власть, в которых я вижу лишь тяжкое бремя; но мне надо, во что бы то ни стало, отстоять и защитить священные и законные права моего сына на престол всероссийский! Он должен царствовать — и никто другой...

Голос у ней при этих словах поднялся до

самых высоких нот и вдруг оборвался... Слезы брызнули из глаз.

— Он должен царствовать — и никто другой! — вдруг вырвалось у всех бояр, которые разом повторили слова царицы, как бы подтверждая и усиливая этим их смысл.

— Да! Он! — твердо произнесла царица, успевшая между тем совладать с собою. — Вы сами знаете, каков он у меня?! Цветет и силою и здоровьем — и теперь уже красуется умом не по летам... И я молю вас, князья и бояре, будьте верны памяти покойного мужа моего, царя Алексея, который вам поручил оберегать свое дорогое детище... Отстояте, защитите его права, не дайте его в обиду; он не оставит вас своею милостию, когда вырастит и возмужает.

— Покойна будь, государыня, — отвечал за всех старейший из бояр. — Мы ли твоего сына оставим! Как дойдет до выбора его чинами всего государства Московского — так он будет царем!

— Будет! Будет! Головы свои за него положим, а будет! — загудели все в один голос.

— Спасибо вам, князья-бояре! Утешили вы



мое материнское сердце!.. Готовьтесь же завтра к делу великому, — к избранию на царство моего дорогого сына, царевича Петра. На вас надеясь и полагаясь, дерзну я завтра явиться к соборованью царя Феодора, о коем мне дал знать государь-патриарх... Станьте твердою стеной около нас, нерушимую, и докажите вашу верность и преданность...

— Станем, станем! Все явимся, государыня-царица!

— А теперь пойду молиться Богу, да утвердит Он всех вас оплотом крепким для будущего юного царя.

И низко поклонившись боярам, Царица Наталья удалилась в свои покои, поддерживаемая двумя ближайшими боярынями.

Едва только за нею затворились двери, князь Борис собрал около себя всех, кто помоложе был в собрании, и сказал, понизив голос:

— Князья и бояре! Вспомните пословицу, что «береженого и Бог бережет». Как завтра во дворец поедете, так не забудьте добрый панцирь под кафтан поддеть, да нож бухарский за сапог засунуть! От Милославских и

мало ли что станется...

Все согласились с ним и разъехались поспешно готовиться к событиям завтрашнего дня.

# ХІ

## У изголовья умирающего царя

В опочивальне царя Феодора Алексеевича темно и тихо. На окнах спущены тяжелые завесы, скрывающие чуть брезжущий свет нарождающегося дня. На двери, приоткрытой в смежную комнату, опущен тяжелый кизылбашский ковер. При свете лампад, трепетным светом горящих перед богатыми иконами в углу, сверкают разноцветными искрами рубины, яхонты и изумруды, которыми осыпаны их широкие фигурные венцы и виден только один из углов громадной, наискось поставленной, кровати с откинутыми темными парчовыми занавесами. В кожаном кресле, поставленном около кровати, опираясь локтями о поручни его и положив голову на руки, сидит царевна Софья Алексеевна, — не то дремлет, не то думу думает... Изредка поворачивает она голову в сторону дверей, у которых, словно два каменных изваяния, замерли в полной неподвижности два спальника; ча-

ще же она поднимает голову и вперяет испытующий взгляд в тот глубокий сумрак, среди которого лишь ее привыкший в темноте зоркий глаз может различить чуть приметный на белой подушке облик царя Феодора... Взглянет туда, прислушается к тяжелому, звонкому его дыханию, и опять опустит голову на руки...

«Никакой надежды! Никакого просвета!» — думает она. — «Все замыслы, все затеи, все расчеты — все прахом пошло! Прахом! Теперь придется перед мачехой шею гнуть... Теперь никуда от ее злобы не уйдешь — и обратишься опять в ничтожество, в тюремную затворницу! О-о! Лучше с братцем в гроб лечь».

И она опять на некоторое время поникала мыслью и начинала прислушиваться к дыханию умирающего брата, к окружавшей его мертвой тишине, нарушаемой лишь изредка потрескиваньем лампад перед иконами. И потом опять просыпалось, опять возникало сознание царевны, и опять мысль начинала работать, скорбная и злобная, и изыскивающая новые, тайные пути к цели...

Казалось бы, все так искусно было налаже-

но... все предусмотрено! Все пути им были преграждены, все способы к достижению власти у них отняты... А теперь? Как им помешать?.. Как? Завтра он испустит последнее дыхание, и завтра же наступит день их торжества — наступит для них полная возможность нами пренебречь — нам сказать: «ваша, мол, песенка спета!»

Нить мыслей царевны была прервана слабым стоном умирающего. Она вся встрепенулась, поднялась с кресла и наклонилась к самым его устам, чтобы прислушаться, не станет ли он что говорить...

— Данилу... дохтура Данилу... ко мне — сюда! — шепчет он, тревожно и испуганно раскрывая глаза.

— Дохтура! Дохтура Данилу позвать сюда! — передала вполголоса царевна Софья стольникам.

Один из них опрометью бросился исполнять приказание.

Фон-Хаден тотчас явился на зов; он всю ночь проводил без сна в соседней комнате, ожидая предсказанного им рокового исхода.

— Царь зовет! — коротко и сухо отрезала

царевна доктору, когда он явился у постели царя Феодора.

Фон-Хаден поклонился царевне и нагнулся над изголовьем умирающего.

— Пить! Пить!.. Промо-чи-ить горло... О-о! — шептал, среди стонов, царь.

Данило подал ему питье в кубке, стоявшем в подстолье — подал, предварительно отхлебнув из кубка.

— А-ах! — вздохнул царь, отнимая уста от кубка. — Ах, Данила, ты один... честный... человек... около меня... Один! А тот... Яган!.. О-он, проклятый! Он послушал Софьи — их послушал, тех... что гибели моей хотели... из-за своей... корысти... И они, тоже... будь они...

Он не договорил, голова его бессильно склонилась на бок, глаза померкли, уста еще мгновенье шевелились беззвучно и как бы замерли.

Доктор поднялся от изголовья умирающего и почти тотчас встретился с глазами Софьи, которая все слышала... Он невольно вздрогнул от того взгляда глубочайшей ненависти, которым она его обожгла — взгляда ядовитого, беспощадного, подавляющего сво-

ею мрачностью.

— Долго ли ему мучиться? — сухо и резко спросила она у фон-Хадена.

— Трудно сказать, государыня-царевна! — Но не более нескольких часов...

— Легко сказать! Вот тут-то показать бы науку свою, да сократить бы муки...

— Есть на это много средств у нас в распоряжении, государыня, но...

— Но что же?

— Но мы не смеем их употреблять, потому что медицина — врачебная наука всегда надеется на силы природы и до конца уповает на Бога.

Царевна поняла нравоучение и молча опустилась в свое кресло, между тем как доктор Данило отвешивал ей большой поклон и удалялся из опочивальни.

Но мысль царевны не унималась и все работала в том же направлении, и все дышало в ней бессильной злобой и разочарованием.

О! Вот кому бы я с наслаждением подписала смертный приговор! Вот кого бы я не пощадила!.. Этого кудесника противного, который так в душу влезть сумел к брату-царю...

который и теперь еще владеет его душою! О! — думала она, судорожным движением лопая пальцы рук, униженных перстнями.

Ковер, приподнятый чьею-то смелою рукой, откинулся на дверях опочивальни, и стольники с почтительным поклоном расступились перед князем Василием Голицыным, который властно вошел и направился прямо к креслу Софьи у постели царя.

— Князья и бояре собираются уже на площадке теремного дворца, — шепнул он Софье Алексеевне. — Все ждут соборованья царя... Князь Борис всем руководит, и с вечера уж на Москве... У патриарха половину ночи совещались... Народ скопляется повсюду — в Кремле и около Кремля...

— А мачеха? А лютая медведица?..

— Речь говорила вчера боярам в Преображенском, просила за сына-царевича вступить...

— Ну? — нетерпеливо перебила его царевна.

— Ну, и обещали, и клялись, что не выдадут.

— И уж все тебе перенесли, и уже выдали!



Предатели! Рассчитывай, надейся на них!

— Что же... теперь? — нерешительно спросил князь Василий.

— Что?! Смерть брата нас застант врасплох... Мы теперь бессильны! Мы ничего не можем, — почти простонала царевна.

— Но как же... царевич Иван Алексеевич? — начал было князь, стараясь несколько направить мысль царевны на вопросы живой действительности.

— Брат Иван!.. Иванушка!! Ну, что он может... Однако же, — одумалась царевна, — сходи к нему, скажи, чтобы он был сюда, как только к заутрене ударят... И наших всех собери — и дяде Ивану Михайловичу скажи, чтобы сюда явился с братом Иванушкой, и от него бы ни на шаг... Того и гляди — он что-нибудь напутает!..

В это время у дверей послышался чей-то шепот... Кто-то торопливо переговаривался с одним из стольников. Спальник подошел к царевне и доложил, что боярин Языков просит о дозволении войти.

— Введи его князь Василий! — проговорила царевна.

Языков (которого один из современников называет «глубоким дворских обхождений проникателем») не вошел, а почти вбежал в опочивальню. Он быстро приблизился к царевне и, спешно поклонившись ей, поманил ее в дальний угол комнаты — к иконам.

— Царевна! — произнес он дрожащим от волнения голосом. — Стрельцы бунтуют! Вчера избили приказных сторожей, которым князь Долгорукий приказал сечь выборного их кнутом... Своего стрельца отбили скопом и кличут клич на все слободы... Требуют, чтобы полковники им головами были выданы... Что делать нам теперь?

— Ничего не делай! Будь, что будет! — с злою насмешкой отозвалась на его доклад царевна. — Царь при последнем издыхании, — не его ли прикажешь тревожить буйством стрельцов?

— Но что же делать?! Что делать — грозит беда, — настаивал Языков.

— Не нам она грозит... Власть от нас отходить... А тем, кто примет ее от нас — пусть на них падут все беды!.. Это нам не страшно...

Боярин хотел еще говорить, еще настаивать

вать, но Софья его не слушала; она вернулась на свое место у постели брата и шепнула князю Василию Голицыну:

— Уведи его, и делай что приказано.

Минуту спустя, она опять осталась одна у постели умирающего брата-царя — среди той же мертвой тишины и гнетущего молчания, и в ее тревожной душе, по-прежнему, бушевала та же буря страстей, ненависти и неутолимой жажды величия и власти...

«Да! Пусть все беды на их голову падут! Пусть раздавит их, пригнет их к земле... Пусть насладятся они вполне тою властью, тою силой, которую вырывают, похищают у нас из рук! А! Государыня-мачеха со своим орленком — ступай сюда, отведай сладости царствования! Подставь свою грудь под удары судьбы... Мы будем со стороны глядеть да радоваться... да выжидать...»

И над этим последним словом она вдруг задумалась глубоко... Какая-то отдаленная тень чего-то, вроде надежды, какой-то проблеск возможности найти выход из тьмы, в которую она собиралась погрузиться, вдруг замерцали в ее сознании. Она старалась со-

средоточить все мысли на этом отдаленном, неясном мерцании, она пыталась сделать над собою чрезвычайное усилие воли, пыталась заставить свой утомленный мозг работать в известном направлении...

И вдруг ударил соборный колокол к заутрене, и благовест его широкою и плавною волной разлился в утреннем воздухе и раскатился над теремами и башнями Кремля.

## XII

# Кончина царя Феодора Алексеевича

Тяжелая царицына колымага, запряженная шестериком коней, с двумя выносными впереди, грузно покачиваясь на толстых ременных подвесах, катилась по большим улицам предместья Москвы от Преображенского. Обережатаи из дворцовой служни стояли на запятках, а с десятков вершников скакали спереди, сзади и по бокам, очищая дорогу и окружая колымагу, в которой царица Наталья Кирилловна поспешала в Москву — проститься с отходящим в вечность царем Феодором и поставить своего царя на Всероссийский престол. И будущий царь Московский, разбуженный раньше обыкновенного, ехал с царицей-матерью, покачиваясь и дремля у ней на плече. Красивая курчавая голова его то и дело скатывалась с плеч царицы, нагибаясь низко-низко, и опять искала плеча матери, как надежной опоры. Мать нежно поглядывала на него; разглаживала его прихотливые тем-

ные кудри, и, бросив как-то мимолетный взгляд на наряд царевича, подумала про себя:

— Ах, батюшка! Что за наряд на нем — не смотрели бы оченьки! А все боярыня-мама! Все ее упрямство! Я говорю ей: «дай ему новое платье» — а она мне: «прощаться с царем едете, да в новое платье его вырядите. Это разве можно?» и отпустила его в домашнем, в масаковом кафтанце... И на плечах, и на низах протертый — и сапоги-то, смотрите-ка, такие, что в них подошва прошвы не стоит.

Царевич, очнувшийся от дремоты вследствие какого-то толчка, вдруг поглядел на мать своими большими черными глазами, и спросил:

— Мама! Куда мы едем?

— В царский дворец — прощаться с братом твоим, царем Феодором.

— Он разве уезжает куда-нибудь?

— Нет. Он умирает.

— Умирает?.. А кто же будет тогда царем? — удивленно спросил царевич.

Мать затруднилась ему ответить.

— Либо ты, либо брат Иван... Но только брат Иван откажется, — он больной...

— Значит, я буду царем?

— Да! Может так случиться...

— А это трудно быть царем, мама? — спросил ребенок, заглядывая в глаза матери.

— С Божьей помощью ничто не трудно, — нашлась ответить мать.

Колымага катилась уже по Разгуляю, когда до слуха царицы Натальи Кирилловны достиг звон кремлевского соборного колокола; царица всполошилась и, откинув край ковра, сбoku закрывавшего колымагу, крикнула стольнику, ехавшему верхом о бок колымаги, чтобы он погонял конюхов. Стольник крикнул что есть мочи: «Пошел! Пошё-ол» — и поезд пустился во всю прыть.

Чем ближе подъезжали они к Кремлю, тем многолюднее становились улицы. Когда они выехали на Красную площадь, то, судя по крикам вершников и по тому, что колымага ехала шагом, им приходилось пробираться по сплошным толпам.

— Царица едет — царя везет! — слышалось в толпе то справа, то слева.

Наконец колеса колымаги застучали по мосту через кремлевский ров, и колымага с

грохотом прокатилась под сводом ворот Кремля.

И тут — шум и говор народа, заливавшего всю площадь между приказами и дворцовой решеткой, едва покрывался гудением соборных колоколов. Стечение народа, видимо, было громадное, и царица, ехавшая через эти толпы, понимала значение важного исторического момента, поднявшего и собравшего народное множество вокруг теремного дворца, в котором угасал царь Феодор... Наконец колымага остановилась во дворе теремного дворца у постельного крыльца, и царица Наталья Кирилловна, высаженная из колымаги стольниками и иными чинами, стала подниматься на крыльцо, ведя царевича за руку, всюду встречаемая толпою царедворцев, которые на этот раз выказывали себя по отношению к ней очень внимательными и кланялись ей не в меру низко. И с каждой ступенью лестницы, на которую царица поднималась, она чувствовала, как в ней возрастали мужество и сила энергии, и она все более и более входила в свою роль царицы-матери, готовой грудью встать против кого бы то ни было за



право своего сына, будущего царя России.

Сенями и переходами, сплошь заставленными нескончаемым рядом дворцовых чинов, бояр, окольныхчих, князей и первостатейных вельмож, царица Наталья Кирилловна прошла прямо к терему царя Феодора. В то время, когда двое стряпчих усиленно и торопливо очищали ей дорогу через царскую переднюю, царица успела заметить, что все люди ее партии были тут налицо, а царевич зорко и внимательно всех оглядывавший, вдруг дернул мать за рукав и шепнул ей:

— Смотри-ка мама, вот тут и доктор Данила, который мне горло лечил.

Царица взглянула в указанную сторону и милостиво кивнула доктору, которому была обязана спасением своего сына.

Вот, наконец, и дверь опочивальни царской, наглухо запертая для всех и медленно отпирающаяся перед царицей Натальей Кирилловной, которая смело берет за ручку замка и вводит царевича в опочивальню царя Феодора.

В опочивальне было светло, занавеси окон были отдернуты; около постели царя были

только две особы царской семьи: царевна Софья Алексеевна и юная царица Марфа Матвеевна. Первая, по-прежнему, сидела в своем кресле, в ногах царской постели, вторая стояла на коленях у изголовья и держа холодеющую руку царя в своих прекрасных руках, обливала ее слезами.

Когда царица Наталья Кирилловна приблизилась с сыном своим к постели царя, Софья Алексеевна поднялась со своего кресла, и обе женщины обменялись взглядами такой жгучей, такой непримиримой ненависти, что каждый сторонний наблюдатель, если бы он мог тут находиться, вчуже испугался бы...

«Не опоздали!» — говорил взгляд царевны.

«Знаю свое время и свои права!» — не менее ясно выражал взгляд царицы.

Эти красноречивые взгляды не помешали им однако же обменяться обычными поклонами и лобызаниями.

Царевич Петр, который, конечно, ничего не заметил, смотрел в это время на брата-царя, которого давно уже не видел, или лучше сказать, смотрел на ту тень, которая от царя еще оставалась... В полутьме тяжелых, полу-

спущенных занавесок широкой кровати, из-за крупных складок атласного одеяла, затерянный, утонувший в огромном пуховом изголовье, едва виднелся бледный измученный облик царя Феодора, с глубоко провалившимися закрытыми глазами, с заострившимся носом, с жидкими прядями волос, липнувшими ко лбу и щекам, увлажненным каплями холодного пота...

Царевич посмотрел и отвернулся с чувством того невольного страха и отвращения, которое внушает каждому живому существу наступающее торжество смерти...

По счастью, царевичу не пришлось над этим долго засматриваться... Дверь опочивальни широко раскрылась перед патриархом, который вступил в опочивальню со своим клиром. За клиром теснились бояре и вельможи... Немного спустя, раздалось тихое и стройное пение патриаршего хора. Начался тягостный для умирающего царя обряд соборования.

Ровно в четыре часа пополудни раздался заунывный благовест колокола с соборной колокольни, возвещавшей царствующему го-

роду Москве, что царь Феодор «преставился»... К этому времени всех чинов люди Московского государства, по приказанию патриарха были уже собраны на площади перед церковью Спаса, находившейся внутри дворцовых построек. Вся толпа этих «чинов» была в весьма напряженном состоянии ожидания и внутреннего нескрываемого волнения. В разных углах площади шли вполголоса оживленные толки и переговоры... Вот, наконец, патриарх с архиереями и с первыми вельможами царского двора вышел на крыльцо, готовясь обратиться к народу с роковым вопросом... И вся толпа замерла и притаила дыхание.

— Православные христиане, всех чинов люди Московского государства! — возгласил патриарх. — Царь Феодор преставился и переселился в горняя. Два осталось по нем брата-царевича — Иоанн Алексеевич и Петр Алексеевич. Кому же из двоих царевичей быть на царстве?

— Петру Алексеевичу! — крикнула толпа. — Петру Алексеевичу!

— Иоанну Алексеевичу! — раздалось

несколько голосов где-то в углу площади.

— Петру, Петру Алексеевичу! — вырвалось опять у всей толпы, как бы из одной груди — и в этом общем, дружном возгласе бесследно замерли голоса немногих крикунов.

Патриарх выждал, когда крики толпы замолкли и возгласил:

— Православные! Иду во дворец и благословлю царевича Петра Алексеевича на царство.

— Здравия, здравия царю Петру Алексеевичу! Многия лета царю Петру Алексеевичу! — загремела толпа, и крики ее перелетели на площадь перед дворцом и были повторены десятками тысяч столпившегося там народа.

# XIII

## В «Трубе»

На другой день — день похорон царя Феодора — в кружале «Труба» у Никольского крестца опять стоял дым коромыслом. Толпа была еще теснее, чем когда-либо, давка еще сильнее и чувствительнее... Двери не стояли на петлях, и народ не смолкал в речах. В одном углу шумели стрельцы — и говор шел о их буйствах за последние дни.

— Выборного нашего — понимаешь, аль нет? — нашего выборного да велел боярин, безмозглая башка, перед приказною избой кнутом высечь! А? Каково тебе покажется?

— Ну, а вы что же? — разве олухами стояли?

— Вот ты послушай, как было дело... выборного и вывели приказные сторожи, и стали уж к кобыле ремнями прикручивать, а он, с горя да с досады, и крикни во все горло: — «Братцы! Ведь я не самовольно, не самодумно, а по вашему приговору подал челобитную властям? За что же теперича принять должен

порувание?..» Ну, тут в нас сердце-то и заговорило... Разом крикнули: — «Вырывай его, братцы! Бей приказных сторожей!» — и пошла потеха! Сторожей-то всех смяли, сбили, товарища от кобылы отвязали, а дьяк, подбрав полы кафтана, зайцем бежал... Тем только свою шкуру спас...

— Эки дела! И неужель это все вам даром с рук сойдет?

— Да это что! — Мы теперь царю челобитье подали, чтобы нам всех полковников-грабителей головою выдали! Всех на правеж поставим, выбьем из них наши кровные гроши!

— Ну, дела! Дай вам Бог на них шеи не сломать.

— Чего там — сломать? Что они с нами делают?.. Мы своего закона требуем, вот! Отдай нам наше — чужого не просим!

В другом углу шел говор между весьма пестрою массой постоянных посетителей «Трубы» о том, что в тот день происходило на похоронах царя Феодора.

— То есть, братцы мои, — рассказывал старый посадский человек — и не видано у нас на Московском государстве, и не слыхано. Уж

я ли на своем веку чудес не видал: при двух царях жил, при третьем царе Феодоре, а такого чуда не видывал! Царевна Софья Алексеевна, теремная затворница, за гробом брата-царя пеша шла, за гроб держалася, да как убивалася!

— Да ведь им соборами из теремов выходить не положено!?

— Ну, собор соборами — а она вышла! И смотреть было куда как трогательно, как она слезами обливается, да причитает, да голосом ведет, да во весь народ так и сказывает: «отошел брат Феодор от сего света нежданно-негаданно, отравили его враги зложелатели! Старший брат наш Иван в цари не избран, и остались мы без матушки, без батюшки, без братца-царя сиротами горе-горькими»...

— Неужто так и сказывала что «отравили»?

— Я ж тебе говорю — своими ушами слышал!

Та же басня об отравлении царя (весьма обычная в то время и постоянно появлявшаяся в народных толках после каждой кончины царя или царицы) разрабатывалась и в дру-



гом дальнем углу того же кружка, где знакомый наш «дохтурский холоп» Прошка собрал около себя тесный и многочисленный кружок любознательных слушателей.

— Уж как же не отравили?! Это кто мне-то станет сказывать? Я сам видел, как он в ступках всякие зелья-то растирал!.. И то посудите: царь Феодор этого самого дохтура Данилу от себя прогнал; взял себе дохтура Ягана — и все ничего себе, жив да здоров... А как этого Данилу вернул, так через три недели Богу душу и отдал!

— Скажи на милость! Вот оно, какие дела! — раздавались восклицания около Прошки.

— А власти-то что же? Чего они смотрят? — поднялись вопросы.

— Власти-то хотели было его изловить, особливо как он тут в опалу-то впал, мне и поручали через верных людей: добудь, мол, ты нам от него сушеных, либо моченых змей и иных гадов, так мы его к суду и розыску при-тянем. Я и взялся: ладно, мол, добуду! Ан что же вышло?

И рассказчик, для большего внушения,

примолк и откинулся назад, многозначительно поглядывая на слушателей.

— Ну, что же? Что? Сказывай!

— А вот что! Сунулся я этта один раз, а в его комнату дверь на ключе. А у меня есть такой ключ, что к его двери подходит; я за тем ключом сбегал, и только стал было на крылечко подниматься, как что-то меня по голове щелк! Я и полетел с лестницы кубарем... И очнулся уж только под вечер: лежу в клети, по рукам по ногам связан, а тело у меня словно разбитое — все болит.

— Чудно, коли правда!

— Статься может — коли он точно кудесник. Ведь они какую мороку на людей напускают!

— Как же не кудесник? — горячо выступил опять Прошка. — Разве не слышали, как он царя Петра нынешнею зимой лечил?

— Нет. Не слышали.

— Ну, то-то! Горлом тот заболел — глотку захватило, что ни охнуть; ни вздохнуть... Капли воды — и той проглотить не может! Позвали дохтуров — те отказались; говорят: не нашего ума дело. Позвали Данилу. Тот сейчас

его ножом по горлу — хлысть! Горло взрезал, болезнь руками вынул, а горло зашил — и вся недолга! Вот он каков?

Слушатели были так поражены этим рассказом Прошки, что между ними даже не нашлось недоверчивых скептиков. Они готовы были бы и долее слушать Прошкины рассказы о чудесах дохтура-кудесника... Но кто-то крикнул у входа:

— Ребята! Ступай смотреть! Из Кремля боярский поезд навстречу боярину Матвееву выезжает... Гляньте-ка, гляньте, каковы кони, каковы вершники — каковы колымаги!

И вся гурьба народа, заполнявшая «Трубу», ринулась как один человек к дверям толкаясь и теснясь, и спеша полюбоваться редким зрелищем.

Зрелище было действительно красивое. С кремлевского моста выехал нарядный конвой из боярских детей, в красных высоких шапках и красных кафтанах, на вороных конях; у всех были копыя с разноцветными значками в руках, а на боку болтались кривые сабли в кованых ножнах. Позади этого конвоя ехала стекольчатая раззолоченная карета самого

боярина Матвеева, а позади ее другая, менее нарядная, в которой сидел один из Нарышкиных с дьяком и со стольником. По бокам пути ехали верхами стрельцы в своих богатых нарядах, а позади повозки с запасами и опять конвой из боярских детей.

— Нарышкин встречать родича едет! — Нарышкиных время настало! — слышалось в толпе... — Милославские теперь на попятный двор... Милославским славушку петь надо!

Прошка, пропустив мимо себя весь этот поезд и наслушавшись всех этих речей, направился к своему подворью, шепча себе под нос:

— Уж там как ни как, Милославские ли, Нарышкины ли, а что я этому дохтуру-кудеснику за его батоги, и сыну его Мишке за его затрецину отомщу — уж это верно! Своих бочков не пожалею, голову на плаху положу, а их изгублю!

# XIV

## Царская милость

Доктор фон-Хаден с самого дня вступления Петра на царский престол точно, как-будто, помолодел и ожил.

Из дворца, где он вместе с другими дворянскими чинами приносил присягу, доктор Даниэль вернулся веселый, радостный, как-будто у него самого в доме или в семье случилось что-нибудь чрезвычайно приятное и притом еще неожиданно приятное.

— Ну, слава Богу! — сказал он своей Лизхен, поздно возвратившись из дворца. — Слава Богу! У нас теперь царь такой умный, такой красавец и такой цветущий здоровьем молодец, что я на него налюбоваться не могу.

— Ах, отец! Я знаю твое пристрастие к царю Петру, — сказала Лизхен. — Он тебе и всегда нравился, а с тех пор, как ты его спас от смерти, ты его полюбил еще более...

— Да, милая дочка, в нем есть что-то необычайное, что-то гениальное, если можно так выразиться... Какой-то оригинальный ум

светится в его глазах. Да, признаюсь — я питаю к нему некоторую слабость.

— Но ты меня удивляешь, отец. Ты радуешься воцарению Петра и говоришь о нем, как о взрослом... А ведь он еще ребенок.

— Ну что же? У этого ребенка есть мать, которая его боготворит и будет за него править пока он вырастет...

— Но ведь и мать — женщина. Слабая женщина — и только... И нелегко ей будет справляться с народом. Ведь ты, вероятно, слышал, как бунтуют стрельцы? Прежде только в двух полках бунтовали, а теперь, говорят, чуть ли не во всех...

— Ну, это вовсе не страшно. Царица Наталья, вероятно, разберет их жалобы по справедливости, прекратит злоупотребления начальников — и стрельцы смирятся... И если я радуюсь, что вступил на престол царь Петр, так это потому, что при царе Иване всем царством стала бы править его сестра, царевна Софья Алексеевна — и тогда мне бы пришлось немедленно уезжать из Московского государства... Я знаю, что эта царевна меня ненавидит... Она уже и при царе Феодоре сде-

лала все возможное, чтобы мне повредить в его мнении...

Лизхен, которая внимательно слушала отца, стоя у окна, выходявшего во двор, вдруг перебила его речь восклицанием:

— Смотри-ка, отец! Гутменш к нам приехал, и бежит через двор, как угорелый!

«Уж не случилось ли с ним чего-нибудь неприятного?» — подумал доктор Даниэль.

Но не успел доктор Даниэль еще закончить своей мысли, как Гутменш уже ворвался в комнату бледный, растрепанный, с каким-то совершенно растерянным видом. Почти не кланяясь хозяевам дома, он в полном изнеможении опустился на первый попавшийся стул.

— Что с тобою, коллега? — спросил с неприятворным участием фон-Хаден. — На тебе лица нет.

— Как? Ты не знаешь? Ты точно не знаешь?..

— Ничего не знаю... Что с тобой случилось?

— Получил приказание в течение одной недели распродать все свои пожитки и уез-

жать из Московского государства! Да, да. Все пропало — все пропало!

И он в полном отчаянии опустил голову на грудь.

— Жалею тебя, коллега. Но не думаю, чтобы все уже было тобою потеряно... Можно похлопотать, попросить...

— О! Кто же возьмется за меня просить? Помилуй! Кому это нужно?

— А хоть бы и я, — сказал с улыбкой доктор Даниэль.

Гутменш посмотрел на него с большим недоверием, не зная, как принять его слова: за шутку, за насмешку или за неожиданное участие.

— Напрасно ты так недоверчиво на меня посматриваешь, — сказал доктор Даниэль. — Я нимало не способен возгордиться в счастье или пасть духом в беде... Притом я помню, что мы с тобою готовимся соединить наших детей узами брака... Я повторяю тебе: я завтра же буду просить за тебя государыню Наталью Кирилловну.

Гутменш, совершенно пораженный, униженный великодушием фон-Хадена, не



знал, как и благодарить его.

В то время, как доктор Даниэль выслушивал его благодарения и старался утешить его на разные лады, в комнату вошел Михаэль с Адольфом и сказали, что боярин какой-то из дворца к доктору на подворье едет и царскую милость ему везет.

— Царскую милость? Мне? За что? — сказал доктор Даниэль. — Ступай, Михаэль, встречай дорогого гостя и введи его сюда.

Несколько минут спустя во двор въехала открытая коляска, в которой на главном месте сидел боярин Стрешнев, а рядом с ним дьяк Телепнев; двое стряпчих, державшие в руках высокий серебряный кубок с кровлею, сидели напротив боярина.

Толпа всяких зевак и оборванцев с улицы ворвалась в открытые ворота вслед за дворцовой повозкой и запрудила весь двор дома фон-Хадена.

Боярин Стрешнев, поддерживаемый под руки Михаэлем и Адольфом, вступил в дом доктора Даниэля, степенно опираясь на свою высокую трость с резным набалдашником, и встреченный поклонами хозяина и его до-

машник остановился в величавой позе среди комнаты.

— Читай, дьяк, милостивую грамоту царскую, присланную дохтуру Даниле! — приказал боярин.

И вот дьяк, вынув из зеленого шелкового чехла грамоту с висячею на снурке большою красною печатью, развернул и стал читать громко, истово и внятно.

В грамоте, в самых изысканно-милостивых выражениях, высказывалась дохтуру Даниле царская признательность за то, что он вылечил «ныне благополучно царствующего государя Петра Алексеевича от горловой немочи», и по этому поводу в дар дохтуру присылается «ложчатый серебряный кубок с кровлею, а в нем золотые голландские корабленники», да сверх того, близ села Коломенского отводится «поместье с угодьями», почти равное тому; которым он уже владел при царе Феодоре.

Доктор Даниэль, глубоко растроганный царскою милостью, благодарил боярина со слезами на глазах и, приложив руку к сердцу, просил его передать государю-царю и государыне-царице, что он рад служить им всеми



10 летъ снлъ развернулъ трамону и снлъ члськъ трамод, итп. и итп...

силами и знаниями своими до последнего издыхания.

Затем боярин со всею своею свитой уда-

лился и сел в коляску; пока сопровождавшие его конные стрельцы очищали двор и улицу пред воротами от народа — доктор Даниэль со своим сыном все стояли на крыльце и почтительно кланялись провозвестнику царской милости. Наконец, коляска съехала со двора, и ворота заперлись на запоры вслед за последним из сопровождавших боярина всадником, и доктор Даниэль мог вернуться в дом.

— Ну, дорогой мой Адольф, — сказал доктор Даниэль, обнимая своего будущего зятя, — теперь, благодаря царской милости, которой я не ожидал и не добивался, я настолько богат, что ты можешь и не ожидать места органиста и ранее его получения жениться на Лизхен. Что скажешь ты, Лизхен, если мы, например, назначим твою свадьбу с Адольфом на 15 мая?

Лизхен вскрикнула от радости и вместе с Адольфом бросилась обнимать отца, а пристыженный Гутменш не знал куда ему глаза девать, припоминая, как он относился к своему коллеге в период своего кратковременного величия.

# XV

## Мрачные думы

Царевна Софья вернулась с похорон брата-царя в страшном изнеможении, физическом и нравственном. Она чувствовала себя совершенно разбитою, уничтоженною, потерявшею все, что она чрезмерными усилиями ума и характера сумела захватить в свои руки в последние годы жизни царя Феодора. Все это опять уходило, уплывало из ее рук, и жизнь ее грозила вновь преобразоваться в тот бесцельный, бесцветный, бессмысленный процесс существования, к которому сводилась вообще жизнь теремных затворниц-царевен.

— Нет! Нет! Тысячу раз лучше смерть — смерть и могила, нежели эта теремная келья! — восклицала много раз царевна, оставаясь наедине со своими думами — и все же не видела никакого выхода из своего положения.

В этих мрачных думах, в этих нравственных терзаниях прошло два-три дня, и в тече-

ние этих трех дней Софья почти не выходила из своей опочивальни, почти ни с кем не виделась, и даже князя Василия Голицына приняла так сухо и холодно, что тот поспешил удалиться и отложил свое посещение до более благоприятной минуты.

Но вот поутру на третий день к царевне почти насильно ворвалась боярыня Анна Петровна. Страшно разгневанная и озлобленная, она набросилась на царевну чуть ли не с выговором:

— Спасибо, матушка-царевна! Спасибо тебе! Вот из-за твоей ко мне милости до чего дожить пришлось! Господи, Боже праведный, вот какую себе награду за верную службу выслужила!

— Я тебя не пойму, боярыня. Что с тобой случилось?.. Говори!

— Как что случилось?! Уж я ли тебе не была верна и предана, а ты меня ей головою выдала!.. И вот она мне сказать приказала, чтобы я немедля восвояси убиралась... Есть мол у нее вотчины — пусть туда и едет, пока я ее подалее куда-нибудь не отправила...

— Да я то тут при чем? — вспыхнула царев-

на Софья.

— А то, что ты за братца своего не постояла и всех нас и его верных слуг Нарышкиным в лапы отдала... Тебе бы постоять надо да отпор им дать...

— Не расшевеливай моих сердечных ран, боярыня! Быть может, и меня тоже мачеха ушлет куда-нибудь или заточит... Но тут моей вины нет! Я все сделала, что было в моей власти, чтобы мачехе места не уступить; да изменники-бояре побоялись голос подать за брата Ивана... И вот...

Царевна не могла продолжать: жгучие слезы злобы, отчаяния и бессилия неудержимо брызнули у нее из глаз... Она повернулась к боярыне спиной и ушла в свою моленную.

Ушла, конечно, не молиться, а скрыть от глаз людских свою лютую скорбь и стыд своей слабости...

Сколько времени пробыла она одна и сколько слез пролила — она этого ясно не могла потом припомнить, потому что впала в какое-то оцепенение; но она выведена была из него легким стуком в дверь моленной.

— Царевна-матушка, — раздался за дверью

голос ее любимой постельницы, — дядюшка твой, боярин Иван Михайлович Милославский желает твоих ясных очей видеть.

«Дядя Иван Михайлович, — быстрее молнии мелькнуло в голове Софьи, — верный пособник мой и надежный советник!.. Что ему нужно?.. Верно, уже не даром захотел меня увидеть».

— Проси боярина ко мне в комнату, — крикнула царица, выходя из молельной.

Постельница ушла и через минуту впустила к царице старого родича ее — высокого, худого, как кощей, боярина Ивана Михайловича. Во всей наружности этого человека было что-то отталкивающее, мрачное, хищное и вместе лукавое; но его глубоко впалые глаза горели умом и большою силою воли...

— Царице-племяннице! До сырой земли поклон правлю! — подобострастно ухмыляясь, проговорил боярин.

— Боярин! Только тебя одного душа моя желала видеть... Никого другого я бы и на глаза к себе не пустила.

— Так, так, матушка-царица! Понимаю, беда помянула — а бес тут и есть.



— Не виляй — сказывай! Зачем пришел? — настойчиво проговорила Софья.

— Как не сказать! Прямо скажу: пришел с тобою по душе поговорить, потому не с кем мне, кроме тебя, моими думами задушевными поделиться...

— Да не одне ли думы у нас с тобою?

— Может статья. Только уж я так себе и сказал: пойду поговорю с царевной-племянушкой; ну, а коли она не захочет меня послушаться, тогда уж на нее махну рукой, да с Москвы скорее уберусь — пока еще убраться время есть.

— Говори! Скорее говори!

— Стрельцы пугнули Нарышкиных буйствами своими... Потребовали, чтобы все полковники им были головою выданы: те струсили и пустили. Теперь во всех стрелецких слободах словно варом варит: полковников ограбили, избили и на правез поставили... Вымогают с них все свои ущербы и убытки за много лет... Начальников теперь над ними нет... Кто их сумеет забрать покрепче в руки — тот им и начальник!..

Милославский смолк и внушительно гля-

нул царевне в очи.

— Ну, понимаю! Дальше, дальше! — нетерпеливо проговорила Софья.

— Что, если б теперь их припугнуть: поберегись, мол; бояре вам теперь потачку дали, а как вернется к Нарышкиным Матвеев, бывший ваш начальник, так все с вас взыщут... И не худо было бы вам теперь же поискать себе защиты в царской семье: ведь там-то тоже не без греха... Младшего царевича избрали, а старшего обошли, чтобы Нарышкиным способней было править да грабить... А? Не разобратесь ли вам и в боярах, братцы, как разобрались вы в своих начальниках?

Софья вскочила с места и чуть не вскрикнула от восторга. Полушепотом (голос захватило у нее от волнения) она проговорила на ухо Милославскому:

— Окаянный! Ты мои думы угадал... Ты в душу мне глядишь... Я еще у смертного одра царя Феодора все думала об этом.

— А долго думать-то нельзя, царевна! Ковать-то надобно пока железо горячо... Остынет — не выкуешь! Теперь их нужно воротить — и люди есть у меня на это пригод-



„А дело думать-то нечего, царство Коваль-то неабыст, пока желало царство...“

ные... Поднимем их именем царя Ивана, скрутим Нарышкиных, да из-за спины Ивана и будем править... А? Как тебе покажется?

— Сам бес, я думаю, не мог бы ничего умнее этого придумать!.. Но разве же ты думаешь, что так тебе Нарышкины и поддадутся и уступят место? Ты видел при избраньи: — теперь ведь все за них горой! Теперь...

— Теперь, царевна, когда они уверены и в мощи своей и в силе, — теперь-то и наносить им удар! Врасплох мы их захватим, опомниться им не дадим... Да, наконец, ну если и потеряем дело и головой ответим — ну, так что ж? По-моему, уж лучше голову сложить, чем у Нарышкиных в ногах ползать, да пресмыкаться из-за их милостей...

— Ты угадал, боярин, все угадал! Ты подслушал голос моего сердца... С тобою я на все, на все готова! — решительно и восторженно проговорила Софья.

— И даешь мне полную мочь действовать, — твоим именем действовать и именем царевича Ивана? — спросил Милославский.

— Даю полную мочь.

— Ну, так я с нынешней же ночи и пущу моих волчков в баранье стадо! А через неделю мы будем все готовы!.. И ты будешь править государством, а мачеха, по-прежнему, в

одном Преображенском будет госпожою...

Он поднялся с места, стал откланиваться и вдруг приостановился, как бы затрудняясь высказать какое-то последнее условие им договора:

— Царевна-племянюшка! — сказал он слащаво и вкрадчиво. — Так, значит, полную мне мочь даешь и мне перечить не станешь? Ни в чем?

— Ни в чем!

— И крови не испугаешься? Ведь тут без крови мудроно поправить дело.

— И крови не испугаюсь и ни перед чем не отступлю...

— И крест в том поцелуешь?

Софья быстрым движением руки отстегнула ворот ферязи, достала свой тельник и поцеловала его.

— Ну, так я к тебе с вестями не замедлю, племянюшка! И списочек такой составим — кого куда отправить, кого в живых оставить, а кого и угомонить...

— Ладно, ладно; составим и потолкуем. Ступай, не трать ни слов ни времени попустому...

— Ишь, ты как разгорелась царевна! Иду, иду... Прощенье просим.

И он ужом проскользнул в дверь, оставив царевну в состоянии какого-то восторженно-го экстаза, который открывал перед ней новые, даже не грезившиеся ей горизонты.

# XVI

## Жемчужница

**М**ихаэль фон-Хаден был писанный красавец! Высокий, стройный при сильно развитой груди и стане, он невольно всем бросался в глаза, привлекая и своим лицом, правильным и приятным. Глаза синие при темных волосах, румянец во всю щеку, кудри по плечо, и при этом только что опушающаяся борода и чуть пробивающиеся усики, — посмотреть любо-дорого. И не одна женщина, заглядевшись на него, думала:

«Экий счастливчик! Как в этакого не влюбиться. Этакого ведь и нехотя полюбишь, пожалуй!»

И вот однажды, когда он возвращался домой из Аптекарского приказа и проходил мимо жемчужниц, громко выхвалявших свой товар, одна из них, постарше, пристала к нему неотвязно:

— Купи да купи! Купи, красавчик, — своей зазнобушке подари!

— У меня нет зазнобушки! — отшутился

Михаэль, улыбаясь и выказывая при этом два ряда чудных зубов.

— Как? У такого писаного красавца да занобушки нет! Быть не может! — пристала к нему жемчужница, идя за ним по пятам со своим коробком.

— Да я же тебе говорю, что нет!

— Так ты только купи у меня! Я тебя с такою кралей познакомлю, каких ты отроду-родясь не видывал! Купи — не раскаешься!

Михаэль невольно заинтересовался таким странным предложением, и, вынув мошну из-за пазухи, купил несколько зерен у жемчужницы, рубля на два.

Получив деньги, баба припрятала их в карман, скрытый под фартуком, и шепнула Михаэлю:

— Приходи завтра к Николе в Столпах, стань в притворе, да, как обедня кончится, и присматривай: выйду я из церкви с молодухой, приглянется ли она тебе?

На том они и расстались. Баба стала по-прежнему на свое место, а Михаэль пошел домой — и; конечно, никому не сказал о том, что с ним случилось... Но думал об этом



странном эпизоде и вечером, и ночью, и как ни старался отогнать от себя всякие игривые мысли, таинственность и странность приключения подстрекали его любопытство и он — сам себе не отдавая в том отчета — очутился на другой день, во время обедни, в церкви Николая в Столпах, около самых дверей притвора...

День был воскресный, и народа в церкви было много... Обедня позатянулась и даже в притворе было душно... Михаэль смотрел кругом, оглядывался во все стороны, но в густой толпе молящихся не видел никого, кто бы хоть сколько-нибудь напоминал ему вчерашнюю знакомку-жемчужницу. Он уже начинал досадовать и пенять на свое легкоеверие, предполагая, что он дался в дешевый обман пронырливой старухе:

«Заманила меня своею красавицей, лишь бы товар свой сбыть!» — думал он, и уже почти равнодушно начал вглядываться в толпу, выходявшую из церкви по окончании обедни.

И вдруг увидел свою жемчужницу, наряженную — в высокой кике, в темной, атлас-

ной телогрейке — купчиха купчихою... Идет мимо и прямо ему в глаза смотрит... А рядом с нею высокая, стройная красавица в жемчужной повязке, в камчатой узорной ферязи и в бархатном кафтанце с кручеными золотыми застежками. Лицо красивое, молодое и строгое, а глаза — большие и выразительные, так и горят из-под густых бровей, под фатою.

Михаэль невольно загляделся на красавицу, проводил ее глазами до выхода из церкви, и, замешавшись в толпе, не знал, что делать — идти ли за нею следом или... Вдруг кто-то дернул его за рукав. Михаэль оглянулся, а около него стоит какой-то нищий и говорит:

— Старушка Божья велела тебе завтра опять на мосту быть... Подай милостыньку, Христа ради!

Вся эта заманчивая, таинственная и романтическая обстановка приключения совсем вскружила голову юноше... Он всю ночь не спал и все думал о красавице с большими пламенными очами и о том, насколько завтрашний день приблизит его к ней. И еле-еле мог досидеть до конца службы в Аптекарском

приказе.

А жемчужница уже ждала его на мосту и, подмигнув ему, отвела его в сторону.

— Как настанут сумерки, выходи на угол Никольского крестца, и я сведу тебя куда надо. Приказано тебе сказать, что очень ты приглянулся...

Чуть не бегом пустился Михаэль домой, наскоро отобедал и под первым предлогом отлучился из дома, как только стало темнеть на дворе.

Встретив свою знакомку на крестце, он услышал от нее странные речи:

— Родименький, тебе в твоём нарядном кафтане да в шапочке с золотом нет ходу в дом честной вдовы... Придется тебе переменить твоё платье на круту каличью... Котомку взять на плечи, посошок взять в руки...

— А где же я все это возьму? — чуть не в отчаянии воскликнул Михаэль.

— После сам себе круту такую припаси, а на сегодня мне, горемычной, поклонись!.. У меня все есть, для тебя приготовлено!..

И действительно, она свернула с ним за угол, вошла в ограду ближней церкви, ввела

его в сторожку, сняла со стены какое-то рваное платье, помогла Михаэлю переодеться и удивительно быстро и ловко окутала его ноги рядом поверх камчатых шаровар и желтых сафьянных сапог, оплела темными оборами и обула в широкие берестяные ступни. А все его верхнее стольничье платье она тут же повесила на стену и сказала:

— Небось, целехонько будет!

И Михаэль увидел себя, точно во сне, странником Божьим, в изрядных лохмотьях, с котомкой за плечами, с кувшинцем на поясе, с суковатым посохом в руках.

— А вот тебе и колпак суконный! Надвинь его себе поглубже на брови... Вот так... Теперь пойдем за мною!

Она вывела его из сторожки, которую заперла на винтовальный замок и повела за собою по берегу Неглинной.

Так дошли они до Стрелецкой слободы, в конце Сретенки, и постучались у первых ворот направо. Кто-то, ворча и побрякивая связкой ключей, отпер запор калитки, окликну в сначала:

— Ты, что ль, Клементьевна?

— Я, я, родимая! Впусти скорее!.. Вот странничка Божьего к вам на ночевку веду. Авось, приютите его...

Калитка отворилась и захлопнулась вновь за вошедшими. Клементьевна расцеловалась с какою-то старухой, переговорила с нею о чем-то шепотом и повела Михаэля к какой-то избе, в стороне от главного дома, — большой и нарядной избе в два жилья. Введя его в избу, старуха указала на лавку под образами и сказала ему:

— Вот тебе место для ночлега. Клади себе котомку под голову! Тут у нас и завсегда люди Божии ночуют... — А потом, уже собираясь переступить порог избы, старуха добавила: — Буде голоден, так в печи на загнетке и каша в горшке, и щи. А в столе краюха хлеба...

И ушла, оставив Михаэля в самом неопределенном положении в полутемной избе, слабо освещаемой лампадою, мерцавшею в углу пред сумрачным ликом угодника.

«Куда это я попал! — думал Михаэль. — И зачем я тут являюсь каким-то самозванцем, переряженный в чужое платье? И куда девалась эта проныра Клементьевна?»

Эпизод начинал ему представляться в довольно сумрачном виде и утрачивал свои привлекательные стороны, потому что окружающая его обстановка не располагала вовсе ни к чему романтическому.

Вдруг где-то в темном углу скрипнула дверь, и в полу, около печи, открылся ход в подполье. Клементьевна, как тень, явилась из-под пола на половину и поманила к себе Михаэля.

— Дверь заложил на крюк, — шепнула она ему, — и ступай за мною. Алена Михайловна ждет тебя не дождется...

Михаэль поспешно спустился за нею в подполье и в полной темноте, ощупью последовал за старухой, которая вела его за руку, сворачивая, то вправо, то влево. Наконец она остановилась и стукнула в какую-то дверь, чуть слышно, разок и другой.

— Входи, Клементьевна! — проговорил приятный и мягкий женский голос.

Дверь отворилась, и Михаэль очутился в очень уютной опочивальне. Пол был в ней устлан и стены увешаны коврами. Стол, покрытый белою, как снег, скатертью, стоял в

углу, заставленный явствами и сулеями с медом и вином... Около стола — два стула, обитых заморскою тисненою кожей, и за столом та самая красавица, которую он видел вчера по выходе из церкви... Да какая красавица! Поднялась из-за стола, навстречу гостю — улыбается и рукой небрежно откидывает за плечи тяжелую косу.

— Ну, вот тебе; Алена Михайловна, Божий человек, странничек! Прошу любить и жаловать! — проговорила Клементьевна, низко кланяясь красавице.

И в то время, когда оторопелый Михаэль, не отрывая глаз от Алены Михайловны, стоял перед нею смущенный и оторопелый, Клементьевна отвесила ему и красавице по поклону, проговорив нараспев:

— Хлеба-соли вам кушати и белыя лебедушки рушати, — и мигом скрылась за дверью.

# XVII

## Смута затевается

Алена Михайловна была вдовою богатого стрелецкого головы, который пожил с ней всего два года и умер от раны, полученной в Чигиринском походе, оставив свою двадцатидвухлетнюю жену-красавицу на полной воле, богатую и бездетную. Женихам из стрельцов у богатой вдовушки-красавицы отбою не было; но она не спешила менять свою волю на неволю и, не стесняя себя ни в чем, умела исполнять все свои затеи и прихоти так тихо, так осторожно и скрытно, что ни одна из соседок-колотовок ничего не могла за ней заметить и ни в чем не находила возможности ее пересудить. Жила Алена Михайловна окруженная старухами-богомолками, которым давала у себя корм и приют, принимала в дом к себе только монахов да странников, и никому даже в голову не приходило, что в ее скромном и богомольном доме есть такое потаенное подпольице, в котором вдовушка-красавица видится не с монахами и стран-



никами, а с добрыми молодцами, которых тайком проводит к ней проныра Клементьевна. И старая жемчужница, щедро вознаграждаемая Аленой Михайловной, служила ей свою тайную службу уж не первый год, когда так случайно затеялось ее знакомство с Михаэлем, к которому Алена Михайловна страстно привязалась и его приковала к себе крепкими узами.

Эта нежная привязанность длилась уже более года, когда однажды, очутившись в известном подземелье, Михаэль был крайне поражен тем, что Алена Михайловна сама встретила его на пороге своего подземного терема, встретила встревоженная и взволнованная и сразу приложила палец к губам, ясно указывая ему, что он должен быть осторожен и не проронить ни слова.

Подойдя к нему, она шепнула ему:

— Берегись, остерегайся! Нас могут услышать... За стеною есть люди! Прислушайся к их речам!

И она усадила его на лавку, около стенки, и сама стала около него на колени — и они вдвоем стали прислушиваться, едва переводя

дыханье.

Явственно было слышно, что в смежном подземелье говорило несколько голосов одновременно; потом они смолкали и начинал говорить один голос, и опять, как бы в ответ на его речь, начинали гудеть и раздаваться голоса многих лиц.

— С Нарышкиными миром не поладить, — говорил голос (в котором, как показалось Михаэлю, он признал голос стольника Александра Милославского). — Они, что саранча, обсели молодого царя и его мать-царицу — и не отбиться от них! Все в руки заберут... Тогда считайся с ними — и суда-то не найдешь!.. Ведь всюду будет у них рука, а своя рука — руку моет...

— Вестимо, уж где тут суда добиться и правды доискаться! — загудели в ответ несколько голосов. — Везде Нарышкины — везде они одни!

— Как же не одни? Небось, вы видели, что напроказили они в одну неделю: Нарышкины все разом двинуты, все награждены! Иван Нарышкин, например, из стольников шагнул в бояре! Мальчишка безбородый!

— Боярин тоже! Хорош боярин! От этакого проку жди! — загудели голоса.

— А кроме Нарышкиных кто награжден? Тот, кто их руку тянул при избрании царя! Долгорукие да Стрешнев, да Троекуров, да Лыков. А все, кто были в силе при царе Феодоре — те все устранены: Языковы, и Дашковы, и Лихачевы...

— Где ж им с Нарышкиными тягаться? Этим все не в меру! Этим всего мало!

— А они себе в подмогу еще Матвеева из ссылки воротить хотят; да так и говорят: стрельцов пора унять; мы их не в меру распустили! Вот как приедет Матвеев — всех их в руки заберет и разошлет по рубежам да по дальним городам!..

Тут поднялся такой шум голосов, такие неистовые крики против бояр, против Нарышкиных и Матвеева, что в них невозможно было разобраться. И только, когда они поунялись и смолкли, тот же голос Милославского заговорил:

— Вот так-то вы и всем стрельцам сказывайте, как я вам сказываю... Так вам царевна сказывать велит, вас жалеючи и от вас ожи-

дая помощи... Так и говорит: на стрельцов, да на их верную службу теперь у меня вся и надежда! Помогут они нам с братцем Иваном наши права отстоять, не выдадут нас Нарышкиным головою — мы их службы не забудем и в первых над первыми стрельцов поставим...

— Как можно царевича Ивана дать в обиду! — загудели голоса. — Младшему над старшим не властвовать! Поможем — их правое дело!

— Ну, вот вы это сами видите, где право и где не право! Тут, значит, невеликого ума дело! А Нарышкины того не видят! Вот царевна нам и говорит теперь: коли не выберут брата нашего Ивана на царство — так пусть нас отпустят в чужие земли, к королям христианским, — потому нам здесь живым не быть: Нарышкины нас либо со свету сживут, либо сошлют в дальние ссылки.

Опять крики и шум были ответом на эту хитро-плетенную ораторскую ложь, и среди криков слышались отдельные возгласы:

— Здравия матушке-царевне, что нас, своих верных слуг, не забывает!.. Не выдадим

ее...

И затем, постепенно удаляясь и затихая, голоса, наконец, совсем смолкли и восстановилась тишина, к которой так привык Михаэль в теплом и уютном гнездышке своей голубки.

Впечатление всего им слышанного было до такой степени сильно и глубоко, что он долго в себя прийти не мог.

— Тут, рядом с моим домом, — дом стрельца Обросима Петрова... Он выборный у них теперь и в силе... Он, Одинцов да Черный — самые буйаны и первые люди! — поясняла Елена Михайловна своему молодому другу.

— И часто они тут собираются?

— Должно быть, они не тут только, а и у других сходятся... Тут я сегодня в первый раз услышала их голоса; а вижу, что уж который день, чуть сумерки настанут, сюда из города все какие-то чужаки верхами приезжают и по стрелецким избам ходят и круги стрельцов собирают...

— Заговор! Это заговор у них! — невольно вырвалось восклицание у Михаэля.

— Какой же заговор? Чего им нужно? Вот

ты слушал, и я же слушала, а воля твоя: я ничего в толк не взяла, не выразумела! — откровенно призналась Алена Михайловна.

— Заговор! Страшный заговор! — повторял Михаэль, все еще не в силах будучи отделаться от впечатлений слышанной тайной беседы стольника Милославского с стрельцами.

И только уже после многих расспросов со стороны Алены Михайловны, Михаэль объяснил ей цели и значение заговора, затеваемого царевной и ее пособниками.

— Тут дело кровью пахнет и страшной смутой! — так закончил свои пояснения молодой фон-Хаден.

И только эти слова заронили искру страха и сомнения в сердце любящей женщины и выяснили ей опасное значение наступающих событий; и во всю ночь, до самого рассвета просидела она со своим милым, все обсуждая и обдумывая, куда и к чему могла привести затеваемая смута, кому грозит и кого коснется она своим размахистым крылом.

Когда настало время разлуки, Алена Михайловна сказала Михаэлю:

— Мишенька! Друг ты мой сердешный, ми-

лый! Будь осторожен... Поберегись! Не приходи ко мне... Я обо всем тебя сама извещу: что разузнаю, что услышу, все объявлю тебе! Сама к тебе приду!

И крепко-крепко обняв его, она проводила его до порога той избы, из которой был выход в подполье.

# XVIII

## Возвращение боярина Матвеева

**М**ихаэль, вернувшись домой рано утром, рассказал отцу все, что он слышал от Алены Михайловны, все что узнал, невидимо присутствуя при тайном сборище. Доктор Даниэль выслушал сына внимательно и серьезно, и хоть опасность не казалась ему такою грозною; такою близкою, как думал его сын, он все же решился довести о ней до сведения царицы и близких ей людей.

— Я сам имею сведения, — сказал он сыну, — которые отчасти подтверждают то, что ты мне сообщил. Старый плут Иван Михайлович Милославский, дядя царевен и царя Ивана, прикинулся больным, а между тем к нему, что ни вечер, съезжаются какие-то темные люди, сидят у него далеко за полночь и ездят с вестями и деньгами в стрелецкие слободы... И у царевны Софьи тоже бывают сборища; там, как слышно, стрелецких выборных бывает не мало, а ее постельница, Федора Родими-



ца, ездит от имени царевны Софьи на всякие лады стрельцов волновать... Да, ясно, что у них что-то готовится!..

И он направился во дворец с твердым намерением — добиться приема у царицы и все, на чистоту, довести до сведения ее: предостеречь, предупредить и, может быть, предотвратить ужасную опасность.

Приехав во дворец и сойдя у дворцовой решетки, он увидел огромную толпу народа, окружавшую парадные кареты, коней и свиту, только что вернувшуюся от Троицы, куда она была выслана для торжественной встречи Матвеева. Во дворе Теремного дворца тоже сутолока, беготня и большое скопление всякого служащего люда и всяких «чинов»...

И у всех на лицах радость, веселие, довольство... «Артамон Сергеевич вернулся!» — шепчет ему при входе за решетку один из жильцов. «Вернулся наш отец родной!» — говорил ему с сияющим лицом первый встречный стольник, который, казалось бы, мог быть совершенно равнодушен к приезду Матвеева. «Боярин Артамон Сергеевич, на радость всем нам, прибыть изволил» — кричит Даниэлю

еще за несколько шагов знакомый боярин.

Попытался было доктор Даниэль пробраться на половину царицы, но нашел, что на эту половину собрался весь двор, что не только площадка лестницы, ведущей на эту половину, но и сени и двор перед сенями битком набиты народом.

Повстречав в толпе знакомого ему боярина, князя Турусова, доктор спросил было у него:

— Будет ли сегодня царица принимать доклады по делам?

Но тот только рукой махнул.

— Какие там дела! Там радость неизреченная — такая, что никому исписать невозможно! А ты — дела! Теперь разве уж через неделю к делам опять пристанут!

Доктор Даниэль, озадаченный и встревоженный, сунулся на половину юного царя Петра, но и тут опять встретил полную неудачу. Половина была пуста и, кроме низшей служни, здесь не было никого. Любимый карлик царя, морщинистый и подслеповатый уродец, встретил доктора Даниэля смешками и хихиканьем.

— Нашел ты, дохтур, время за делами ходить! У всех в голове и на сердце праздник, а ты с делами! Царя Петра сегодня разве к ночи можно будет застать... Сегодня радость, а завтра пиროванья пойдут... Теперь к делам-то разве батожьем загонять бояр да дьяков... а с доброй воли не пойдут!

Насилу доискался дохтур Данила любимого холопа боярина Бориса Алексеевича Голицына и упросил его сходить на половину царицы и разыскать его господина.

— Скажи ему, что дохтур Данила просит его сюда прийти для важной тайной вести... Для очень важной! Что ежели не придет, так, может быть, он завтра и спохватится, но уже будет поздно!

— Слушаю-с, как разыщу князя Бориса Алексеевича, так тотчас и доложу им. А вы, что же, здесь, что ли, будете их ожидать?

— Здесь, чтобы с ним не разминуться... А если ты справишь все толково, то награжу тебя, как могу...

— Постараюсь... Авось, либо найду! — сказал холоп и ушел на поиски.

Доктор Даниэль сел на лавку у окна, выхо-

дившего в верхний царский садик, оперся на подоконник и задумался глубоко...

«Милославские не дремлют; готовят гибель, собирают силы, мутят разнузданных стрельцов, быть может уж даже и жертвы намечаются, а тут у всех веселье на уме, пиры и празднество! У всех туман в глазах... Все словно разучились верить в зло! И вот при самом добром, при самом усердном желании добра, мне, может быть, придется встретить недоверие... насмешку даже?»

В этих скорбных думах просидел он час и другой, а холоп не возвращался. С надворья в терем долетал шум и движение, с площади слышались крики: «Здравие боярину Матвееву!» Дворцовые слуги то и дело перебежали через садик, раздражая доктора Даниэля своим суетливым снованьем, и он, наконец, решил, что если через полчаса его посланец не вернется, он обратится к другому боярину, понадежнее, и передаст ему свои сведения и опасения. И полчаса прошло... Доктор Даниэль поднялся с места, взял шапку и двинулся к дверям, но на пороге сеней, почти лицом к лицу, столкнулся с князем Борисом Голицы-

НЫМ.

Князь входил сумрачный и гневный и прямо набросился на доктора Даниэля с выговором:

— Какого тебе чорта нужно, дохтур Данила? Из-за тебя я вызван прямо из передней государыниной... Стола царского ожидал, а ты тут пристаешь ко мне, да еще с какими-то тайными вестями! Ну, говори скорее, вываливай на чистоту, что у тебя есть в запасе! Да помни, что ждать мне некогда.

Доктор Даниэль заметил ему, что не заслуживает выговоров, что только одно усердие к царскому дому побуждает его искать свидания с ближним боярином...

— Усердие, усердие! Знаю я это ваше немецкое усердие!.. И напрямик скажу: не усердствуй, другой награды все равно не получишь нынче!

Фон-Хаден вспылил и чуть не крикнул на боярина:

— Коли ты не хочешь слушать моих вестей, так ты и уходи! Найду другого, поласковой да повнимательнее тебя, — с ним и буду говорить! Его и попрошу передать мои вести



„Усезаше, улардо.“ Зван я оти паше ибракмане усезаше.“

царице!

Князь Борис тотчас спохватился, что поступил неладно и что вести (быть может, и точ-

но важные?) могут пройти к царице помимо его...

— Ну, рассердился, немец! — проговорил князь Борис, смягчая тон. — Сказывай, что знаешь, я слушаю.

Он опустил в кресло и указал Даниле место на лавке около себя.

Фон-Хаден сел и с полною подробностью, как он сам слышал от сына, передал все, что ему было известно о заговоре и нарождающейся смуте. Он сообщил и сопоставил и факты, и слухи, и свои собственные соображения...

Князь Борис слушал его нетерпеливо и невнимательно, видимо, не вникая в сущность того, что излагал ему так обстоятельно и подробно доктор Даниэль. Мысли князя были далеко: вероятно, в той передней царицы Натальи Кирилловны, в которой вельможи выжидали выхода боярина Матвеева из внутренних покоев и лестного приглашения к царскому столу, вместе с этим «первым из первых» столпов государства. Когда доктор фон-Хаден кончил и посмотрел вопросительно на князя Бориса, тот небрежно откинулся

на спинку кресла и, обратясь к нему, сказал:

— Ну, так что же я должен, по-твоему, царице передать?

— Как, что передать? Да все, что ты слышал от меня! Сказать, что заговор...

— Да кто же мне поверит? Теперь у всех веселье на уме, а ты тут с заговорами. Сунься-ка! Все на смех тебя подымут...

— Так из-за этого пускай и пропадает все?! — чуть не крикнул Даниэль.

— Не то, чтобы пропало... Сказать я кой-кому скажу, а толку все-таки не будет никакого. Так и знай!

— О-о, проклятая лень и равнодушие! — воскликнул фон-Хаден, ломая руки в отчаянии. — К кому же мне теперь идти, кого предупредить об опасности?

— А к кому ни ходи, кого ни предупреждай — все будет то же! Все от себя отклонят дело... Хоть к самому Матвееву пойдешь, — что, думаешь, он скажет? Скажет: теперь не время и меры принимать. Пожалуй и хуже разведишь их... Пообождем, посмотрим — тогда и распорядимся.

Доктор Даниэль схватил шапку и, не про-



стясь с князем Борисом, бросился стремглав по переходам вниз на площадь, — к своей одноколке, стоявшей среди других дворянских и боярских колымаг, колясок и карет. И в то время, когда он пробирался среди густой толпы народа к своему дому, он еще слышал, как шумно и радостно раздавались в Кремле клики народа:

— Здравие боярину Артамону Матвееву!  
Многия лета! Многия лета!

# ХІХ

## Приговор над врагами

Царевна Софья жадно и осторожно прислушивалась к радостным кликам народа, величавшего боярина Матвеева. Каждый раз, когда эти клики во дворцовом дворе или на ближней площади возрастали до того, что царевна могла слышать эти «здравия» и «многолетия», — она злобно улыбалась и приговаривала про себя:

«Да, да! И здравия, и многолетия — да не на много дней! — и в мыслях своих дополняла: — Знает ли он, что уж отточены те копыя и бердыши, о которые изрежется, истерзается его белое боярское тело?»

И так прислушивалась она к кликам и день, и другой — всеми забытая, всеми пренебреженная, пылающая завистью и местью. Всеми — кроме искренно преданного князя Василия Голицына, который по-прежнему каждодневно навещал ее под рясой монаха. Но и тот был вынужден присутствовать на радостных торжествах и пиршествах, которые

ми приветствовали возвращение Матвеева из ссылки. И каждый вечер он являлся к царевне с докладом о том, что видел при дворе, что слышал, и какие о чем шли толки...

Вечером, 14 мая, на второй день пребывания Матвеева в Москве, князь Василий, придя, по обычаю, в терем Софьи, был несколько встревожен:

— Царевна, — сказал он с укором, — зачем скрываешь ты от верного раба своего те замыслы, которые питаешь в глубине души своей? Ужели раб твой и слуга по гроб не может дать тебе доброго совета, ни протянуть руку помощи в беде?

— Не понимаю я твоей темной риторской речи, князь Василий! — сказала царевна, стараясь скрыть свое смущение.

— Если точно ты не понимаешь, то дозвожь мне высказаться пред тобой на чистоту... Неведомо откуда, ко двору проникли слухи о том, что ты со стрельцами заодно готовишь смуту! Что ты побуждаешь стрельцов стоять за право на престол царевича Ивана? Что подкупаешь их и деньгами, и лаской, и всякими посулами идти против Нарышки-

НЫХ?..

— Ну, а ты как об этом думаешь, князь Василий? — лукаво и вкрадчиво заговорила царица, заглядывая князю в очи.

— Я даже думать об этом не хочу! Я считал бы эти толки за измышления твоих злодеев, если бы...

— Ну, если бы... Продолжай смелее, князь!

— Если бы темные слухи не доходили до меня с других сторон, из логовища старой лисы, боярина Ивана Михайловича...

— А! Так и оттуда тоже идут слухи? Ну, вот и скажи, что думаешь об этих слухах, если их считаешь правдивыми и верными.

— Попытку такую... Заодно с буйными, разнузданными скопищами стрельцов... Вступить за права царевича Ивана — больного, косного умом и языком — о! такую попытку считаю я безумием, царица!

Царица гордо выпрямилась.

— Если бы я не знала, что ты мне всем сердцем предан, я бы спросила тебя: за сколько ты продал душу Нарышкиным, взявшись меня отговаривать от замысла, который я люблю, и трепетно, и радостно ношу в груди мо-

ей, как мать ребенка носит под сердцем!..

— Или как мы иной раз змею отогреваем у себя за пазухой! — язвительно и желчно ответил ей князь Василий.

— Не смей так говорить! — грозно проговорила царица Софья, бросая на князя Василия пламенный и гневный взгляд. — Не смей судить о том, что не твоего ума дело! Мягок ты очень, князь! Нежен ты! Не на то ты создан, чтобы силой, натиском, хотя бы и кровавым, вырвать свое счастье из рук противников!.. Ты — муж совета, ты в делах посольских — правая рука... Ну, а где надо засапожником действовать, где надо по колена в крови идти...

— О! Не дай Бог и врагу моему! Кровь проливать и добиваться счастья! Да разве же это возможно? Разве, навек лишившись сна, можно быть счастливым?

— Ну, да! Зная тебя, я и устранила тебя от замысла... Он слишком для тебя опасен, он пахнет кровью, и ты не укорять меня должен в неискренности, а благодарить за то, что я тебя щажу и отстраняю...

— Царица! — сказал князь Василий с глу-

боким чувством сознания собственного достоинства. — Никто не может упрекнуть меня ни в трусости, ни в недостатке воинского мужества... Хотя я больше заседал в совете царском и больше действовал пером, нежели мечом, я тыла не обращал к врагу и смерти умел смотреть в лицо! Но то в открытом поле, а не за углом... С честными воинами, а не с презренными крамольниками...

— Тут уж не до того! — перебила его царица. — Тут или тюрьма и келья — или власть царская! Или в гроб ложись, или на престол всходи! Тут некогда смотреть и взвешивать, и рассуждать, и степенями родов считаться... Чем бы ни взять, да лишь бы взять! Кто с нами — тот наш; кто не с нами — тот враг, и нет ему пощады!

— Государыня-царица! Не знаю, в чем твой замысел и далеко ли ты в нем ушла; но знаю, что он тебе грозит позором и гибелью!.. Я слышал от достоверных людей, что уж сегодня Матвеев совещался и с патриархом, и с Долгорукими; что был и у царицы долго на тайной беседе; что речь шла о тебе... И что Иван Нарышкин говорил: «Давно пора эту

змею распластать под пятой»... Подумай же, царевна! Прежде чем решиться...

В это время в дверь, скрытую под стенным ковром, раздался условный стук, и чей-то знакомый голос произнес:

— Господи, Иисусе Христе, помилуй ны!

— Аминь! — быстро и горячо проговорила царевна Софья, бросаясь к потайной двери. — Отец Варсонофий, гряди!

Ковер приподнялся и пропустил в терем высокую и сухощавую фигуру монаха, у которого скуфья была так надвинута на голову, что из-под нее выдвигался только длинный крючковатый нос и клочья жидкой седой бороды.

Князь Василий едва мог узнать в этой фигуре старого боярина Ивана Милославского.

— Князь Василий! — сказала царевна. — Вот отец Варсонофий, наверно, принес тебе ответ на твой вопрос: далеко ли ушла я в замысле моем?.. Он же пусть и скажет тебе: я ли в руках Нарышкиных, или они в моих? Нарышкин ли Иван змею раздавит, или она ему вопьется жалом в сердце?! Ну, говори, отец Варсонофий! Говори, не опасаясь, с какими

ты пришел вестями!

— У нас все готово! — размеренно и мрачно проговорил Милославский, сверкая из-под скуфьи своими хищными очами.

— Слышишь, князь Василий? — с торжеством проговорила царица.

— Слышу — и трепещу за тебя царица! и еще раз молю...

— Поздно, князь... Как ты изволишь видеть, я знала хорошо, я угадала, кого куда назначить! На наше нынешнее дело ты нам негоден... Ты муж совета, — мы и возьмем тебя в совет, когда настанет время для совещаний; а теперь — ступай и жди от нас вестей в своих палатах...

Она величаво и твердо протянула ему руку; он упал пред нею на колени и с чувством поцеловал ее руку, шепча про себя:

— Да хранит тебя Бог! — затем поднялся и ушел тем же потайным ходом, которым пришел Милославский.

Боярин Иван Михайлович глянул ему вслед с презрительною улыбкой.

— Белоручка! — проговорил он желчно. — Ему бы все только жемчугом по бархату ни-



зять! В кровях омываться — не наше дело... Пусть это другие делают за нас, а мы придем потом и им на шею сядем...

— Так все готово? — перебила его царица.

— Все совершенно... Надо вот еще проверить список, чтобы какой ошибки не было... А там приказывай: когда вершить дело?

Он вынул свернутый столбцом список назначенных жертв — страшный, кровавый список смерти! — и подал его царице.

Софья развернула его и быстро пробежала глазами. Ни одна жилка не дрогнула в лице ее, когда перед нею стали длинною вереницею проходить эти лица, обреченные на казнь, быть может предназначенную им даже на завтра...

В голове ее даже не шевельнулась мысль о том, что в ту минуту, когда она держит в руках этот страшный список, имена, написанные в нем, еще «не звук пустой», а живые люди... Что они дышат, существуют, радуются жизнью, пьют жадными устами от ее кубка, любят, надеются, окружены семьями, женами и благами земными, — что они менее всего озабочены тою душой, которую она готовится

вырвать из их тела!..

— А где же тут Гутменш? — спросила Софья у Милославского.

— Он не внесен... Я думал, что тебе он люб — не то, что дохтур Данила!

— Нет, нет! Обоих... Гутменшу тоже слишком много известно... Надо его молчать заставить...

— Хорошо. Внесу, — преспокойно отвечал Милославский, принимая список от царевны. — Так когда же? День назначить надо...

— Зачем нам медлить? Замыслы наши уж наверху известны. О них уже совещаались сегодня... На завтра могут меры принять... Так, значит, завтра утром начинайте...

— Так завтра — утром?

— Да. Завтра, — твердо проговорила царевна, как бы подтверждая этим словом свой приговор над врагами. — Только завтра мы еще застанем их врасплох.

Боярин поклонился и как тень исчез за ковром, оставив Софью в полутьме ее терема, среди непроглядного мрака ее души, готовой на все, ради достижения намеченной страшной цели.

# XX

## Тревожная ночь

Ночь на 15-е мая 1682 года была бурная и мрачная... Холодный и резкий ветер, по временам переходивший в порывы вихря, клубил на темном ночном небе громады облаков, громоздя их друг на друга, разгоняя в разные стороны, вновь сбивая в сплошные массы и погружая улицы, здания, церкви и башни города в непроглядную, непроницаемую тьму. В те редкие мгновенья, когда свист и рев вихря затихали, слышны были гулкие и величавые раскаты отдаленного грома. Яркие молнии, охватывая полнеба, обливали своим волшебным светом башни и храмы Кремля и холмы, на которых раскинулся город, погруженный в сон, тишину и молчанье.

Но бурливый вихрь нарушал тишину и молчание, тревожил сон мирных жителей: он то потрясал плохо притворенными ставнями, то раскачивал ворота на шатких створах, то перебирал драницами на ветхой крыше... Казалось, что в диких, иступленных неистовых

воплях вихря слышались грозные клики, будившие всех перед какою-то страшною, неизведанною бедою, возглашавшие вслух: «Не спите, граждане! Готовьтесь — смерть уже точит на многих из вас свою беспощадную ко-су!»

И точно. Многим не спалось в ту ночь; многим слышалось что-то грозное и злое в голосе бури, в рокоте громовых раскатов; многим виделись странные, причудливые образы, при мгновенных вспышках молнии... Многие не спали, и, ворочаясь на постелях, тяготились и тревожились неопределенными ожиданиями чего-то страшного...

— Не спится что-то, — говорит своей жене посадский человек, ворочаясь около нее на печи. — Вот так и кажется, что сейчас либо крышу с дома сорвет, либо трубу на крышу обрушит...

И тревожно прислушивался он, приподымаясь на локти, вытягивая шею и прикладывая ладонь к уху...

— О-ох, с нами крестная сила! — шептал старый боярин, ворочаясь на своем мягком ложе. — Вот буря-то! Словно бы вся нечистая

сила вырвалась на белый свет из преисподней. То чудится, будто в окно стучат, то в ворота ломаются...

И боярин тревожно оглядывал свою просторную опочивальню, и поправлял дрожащею рукою светильню лампы, чтобы поддержать ее трепетный, слабый свет.

«Расходилась, разгулялась погодушка! — думал дьяк, уткнув голову в пуховую подушку и пытаясь заснуть. — Не уснешь теперь, пожалуй, до рассвета! А чуть свет — вставай, да готовь столпцы для приказа, да выписки делай, да пометы, да скрепы по склейкам... Ох, житье-житье!»

И ему не грезится даже, что он может не дожить до рассвета, что ему, быть может, придется, несколько часов спустя, предстать не перед начальником-боярином, а перед лицом Судьи нелицеприятного и непреложного в своих решениях...

Не спалось в ту ночь и Михаэлю, который уже много дней сряду изнывал от тяжелых предчувствий и опасений не за себя, а за своих милых — отца и сестру. Он тем более тревожился и волновался, что не получал от Але-

ны Михайловны обещанных известий, и в последние два дня Клементьевна передала ему только одну весточку:

«Скажи милому другу моему Михаилу Даниловичу, чтобы он, Христа ради, не ходил ко мне в эти дни, пока сама его не позову...»

А тут еще эта буря, с ее порывами и воем, так его расстроила, растревожила, что он наконец и с постели поднялся. Сняв со стены пару пистолей, он заткнул их за пояс, накинул епанчу на плечи и задумал обойти весь сад и огород, и двор дозором.

— Дай загляну во все углы — присмотрюсь, прислушаюсь! — говорил он сам себе, вздувая потайной фонарь и пряча его под епанчу.

Выйдя на крыльцо, Михаэль тотчас очутился под тем мощным крылом бури, которое сразу охватывает человека и смиряет его перед своим несокрушимым могуществом. Вихрем качнуло его на ступеньках крыльца из стороны в сторону, чуть не сорвало с него шляпу и так захлестало полами его епанчи, что он еле-еле мог с нею справиться.

Чуть только спустился он с крылечка, как его окружили спущенные с цепей дворовые

сторожевые псы, которые сбежали с разных концов двора и стали ласкаться к хозяину. Они, видимо, были обрадованы тем, что хозяин вышел с ними разделить тревоги и ужасы этой страшной ночи. Сопровождаемый ими, Михаэль обошел и сад, и огород, и заглянул во все закоулки двора, и уже возвращался к дому, когда ему почудился конский топот, приближавшийся к их дому по деревянной мостовой двора. Он думал, что почудилось... но нет! Его собаки вдруг насторожили уши и заворчали сердито, а вот и все разом бросились к воротам с злобным рычаньем и лаем.

Топот приблизился и смолк у ворот, и чей-то голос явственно произнес:

— Ишь ты, зачужали проклятые!

Михаэль, как вор, подкрался к калитке, за которой и он тоже почуял присутствие каких-то недобрых людей, какой-то враждебной силы.

— Сколько тут ставить? — спросил опять за воротами тот же голос.

— Ставь два креста, — отвечал ему другой голос. — Да смотри, ставь так, чтобы наши ребята заприметили.

— Э-э! Наши ребята своего не упустят! Шустры больно!

Михаэль готов был разом распахнуть калитку, спустить собак на этих незримых врагов и смело крикнуть им:

— Кто вы? Чего вам здесь нужно?

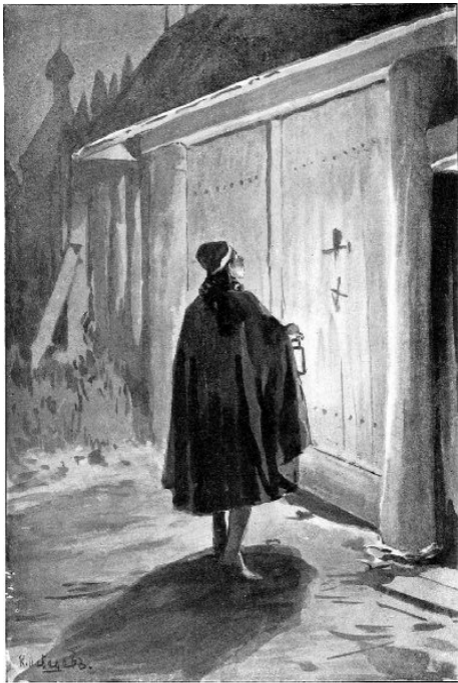
Но он вспомнил об отце, о сестре, и сдержал свой гнев, сознавая, что его жизнь нужна для их спасения.

Минуту спустя, он явственно услышал, как подходившие к воротам люди отошли от них, как сели на коней, и двинулись далее... Вот и собаки смолкли и опять стали ласкаться к хозяину.

Выждав несколько минут, Михаэль осторожно отодвинул тяжелые засовы калитки, потянул ее к себе дрожащею от волнения рукою и вышел на улицу. Вынув фонарь из-под епанчи, он направил свет его на ворота. И что же? На самой середине одного из воротных створов, широкою, издали заметною чертою были намечены два красных, кровавых креста — один побольше, другой — поменьше.

Михаэль понял значение этих страшных немых символов... Он бросился обратно в ка-





Мухомор поцеловал священника и пять студентских карманов сиверлов...

литку, запер ее за собою и стремглав пустился к дому: он знал, что ему нужно было делать!

## XXI

# В стрелецких слободах

Не спали в ту ночь и в стрелецких слободах... Не спали не потому, чтобы свист вихря и завывание бури отгоняли сон от очей, а потому что вся масса стрельцов была подготовлена ловкими смутниками к участию в «тайном государевом деле», которому назначено было совершиться завтра... Стрельцы и сами не знали, куда их поведут, и на что их обратят; но в них во всех успело уже укорениться сознание того, что с удачным исходом этого «государского дела» были соединены какие-то крупные, заманчивые выгоды и льготы в будущем.

— Понапроказили мы тут не мало за последнее время! — открыто и прямо сознавались многие из стрельцов. — Как бы не пришлось нам за это в ответе быть?

— Ничего вы не напроказили, — жужжали им в уши подосланные Милославским советчики: — вы только в своих начальниках разобрались... А теперь придется и повыше загля-

нуть — и в боярах поразобрататься...

— А и вестимо так! От бояр и к нам наши воры-начальники поставлены! — вторила им полупьяная толпа. — Чего их жалеть — изменников!

— Да это еще что за изменники! — шипели в уши стрельцам те же подстрекатели. — Измена-то нынче на престоле сидит!

— Какая измена на престоле сидит? — допрашивали недоумевающие стрельцы. — На престол всеми чинами Московского государства возведен государь Петр Алексеевич...

— Государь нонешний — дитя малое и неразумное. Он у Нарышкиных в руках, что игрушка! Куда повернут — туда и воротится; что прикажут — то и станется. И рыщут они около царя, как хищные волки! Мыслят: как бы его поглотить и всем царством завладеть... Да не бывать по-ихнему! Жива еще правда Божия в царевне Софье Алексеевне — не даст она воли этим хищникам! Да пора бы и вам, вместе с нею, заодно вступиться за царскую семью, за прямой царский корень...

— Как не вступиться?! Мы готовы!.. Пусть только нам государыня хоть знак какой по-

даст! — кричали подготовленные стрельцами горланы.

— До того ли ей, благоверной! Сами знаете: ведь никто как она блюдет брата своего царевича Ивана — как бы лиходеи и его не отравили, как и Федора царя!.. Блюдет его да Богу за Русь православную молится!

— Да разве же отравили? — слышатся голоса сомневающихся.

— Аль не слышали! Царевна небось на весь народ об этом причитала, как шла за гробом брата царя. Где у вас уши были? — Аль думаете даром кудесника-то, немца, грамотой и кубком наградили? — подговаривали сторонники царевны.

— Ну, уж — дела! Его бы на болото да в сруб сжечь! — раздавались негодующие голоса. — А ему награда! Вот куда пошло!

\* \* \*

Алена Михайловна, жившая в центре всех этих толков, слухов, волнений и тревог, и сама тревожилась ужасно ожиданиями чего-то грозного, страшного. Ко времени приезда Матвеева, действительно, все было уже тут настолько расшатано и разволновано, что ма-

лейшая искра могла зажечь пожар... Случалось не раз, что всадник, проскакавший через слободу, даже крик каких-нибудь пьяных буянов — уже поднимали тревогу в нескольких домах слободы... Все население этих домов высыпало на улицу: все оглядывались, спрашивали друг друга, прислушивались к каждому возгласу, к каждому толку — ждали призыва, набата. Много раз Алена Михайловна видела, как, по какому-нибудь пустому поводу, все стрельцы ее слободы выбегали из своих изб, полуодетые, на ходу натягивали кафтаны, и бежали без оглядки к приказной избе, требуя выдачи оружия. Оружие им выдавали; они выстраивались в ряды вокруг приказной избы, стояли некоторое время под ружьем, выжидая чьих-то приказаний, и потом расходились опять по домам, недовольные и сумрачные, и у всех на устах был один и тот же вопрос:

— Да что же это? Будет ли конец? Когда же поведут нас на защиту правого царского корени?

Алена Михайловна все это видела, и поневоле разделяла даже эти тревоги; но в сущ-

ность их она никак не могла проникнуть — не могла разузнать, что именно так волнует и тревожит все стрелецкие полки. Наконец, как-то совершенно случайно, при ней проговорилась ее хорошая знакомая, жена Обросима Петрова, одного из главных вожаков в движении. От нее узнала Алена Михайловна, что Обросим и шестеро других стрелецких голов бывают для каких-то тайных переговоров в тереме царевны Софьи.

— Их матушка царевна вот как жалует: из своих ручек поить изволит, и сулится их за верную службу в полковники повысить... как другой распорядок будет.

— Да за какую же службу? — допытывалась Алена Михайловна.

— А в том их будет служба, чтобы они стрельцов за царевну подняли да прибрали из бояр царевниных ненавистников!..

— Вот что?! А как же они приберут их? Ведь надо знать, кого прибрать! — допрашивала Алена Михайловна, прикидываясь непонимающею.

— Ах ты, Аленушка, какая ты глупая-неразумная! Ну, вестимо, головам стрелецким раз-

дадут такие писулечки, а в тех писулечках  
все обозначено: кого вершить, кого куда де-  
вать.



..И невесты у такого жениха сдаться никак не могут?..\*

— И неужто у твоего мужа есть такая пису-  
лечка? — чуть не вскрикнула Алена Михай-  
ловна. — Ах, Господи? Да я бы, кажется, ниче-  
го не пожалела подарить тебе — лишь бы од-  
ним глазком на такую писульку взглянуть!..  
Ну, вот знаешь ты у меня высокую золотную  
кику, жемчугом низану, — и ту тебе сейчас  
отдам, коли ты мне нонче вечером ту пису-  
лечку показать принесешь!

— Да тебе-то на что? Разве ты грамотная?

— Слыла прежде грамотейкой; авось и те-  
перь не забыла мужниной науки!

— Ну, ладно, коли так! Вот муж, как ляжет  
спать, так я к нему в изголовье и слазаю: он  
там все этот список держит! А ты уж насчет  
кики не отдумай и не отговорись...

И действительно, в тот же вечер, когда над  
Москвой зашумела страшная буря, головиха  
пришла тайком к Алене Михайловне, и, в зад-  
ней комнате оставшись с нею с глазу на глаз,  
вынула из-за пазухи роковой список...

— Вот она, писулька-то! Только я не про-  
мах: себя не забуду! Давай мне кикку за пи-  
сульку. Чай ты со своих слов не спятилась?

Алена Михайловна бросилась к сундуку,



вынула из него кикку, и, подавая ее головихе одной рукой, другую с замиранием сердца протянула за списком намеченных жертв.

— Вот на! Читай! — проговорила головиха, жадно хватаясь за богатую кикку и примиряя ее к своей голове.

Алена Михайловна развернула список и, быстро пробегая его глазами, среди четко написанных боярских, княжеских и дьяческих имен, увидела с ужасом и следующие строки:

«..... а еще вершить иноземца дохтура Данилу, что живет в опушке, близ Ильинского крестца, да и сына его Михаилу Данилова вершить же...»

Как только прочла она эти строки, ее руки затряслись, в глазах у нее помутилось, она едва могла устоять на ногах и невольно опустилась на лавку.

— Что ты это, родименькая, как всполошилась?.. В лице побледнела! — заметила ей головиха. — Аль знакомые имена в поминаньи попались?

— Где тут знакомых среди князей да бояр, да вельмож розыскать? — проговорила через силу Алена Михайловна. — А в голову мне

ударило, как я подумала, сколько тут крови-то, крови-то прольется!..

И она закрыла глаза руками.

— Вестимо, матушка! Ведь уж тут служба царская. Коли кого прикажут принять для царского здоровья, уж надо принять! — равнодушно заметила стрельчиха, пряча свой список за пазуху, и, очень довольная полученным подарком, удалилась со своею кикою.

Страшное волнение охватило душу Алены Михайловны... Она металась из стороны в сторону, не зная, что ей делать, к чему приступить ей?

— Как быть? Что тут делать? Как спасти его?.. Господи, вразуми! — твердила про себя Алена Михайловна, опускаясь на колени перед иконами, и не находя слов для молитвы.

Мысли эти путались, слезы душили ее, а сознание своей полной беспомощности, полного бессилия перед какою-то страшною, чудовищною бедою, перед каким-то неумолимым роком — все это угнетало ее, связывало ей руки, туманило голову...

«На завтра? Быть может на рассвете? И ружьяную зорю, быть может, встретят кровавою

бойнею... Надо идти теперь — оповестить его... бежать сейчас!.. Но как? Вся слобода на ногах... Ждут только приказа посланца царевны... Еще остановят, схватят — пытать станут?! Ах, да что мне все пытки! Хуже этой пытки не будет... Хоть умереть — да лишь бы с ним вместе!»

Наконец, она придумала — да и решилась... Ей надо было идти — разыскать у Ильинских ворот тот дом, в котором живет ее дорогой Михайло Данилыч, просить его, молить, чтобы он немедля все бросил, все забыл — и бежал бы, спасался бы от неминуемой гибели.

Приняв это решение, Алена Михайловна прокралась через подполье в ту избу, где спали две старые инокини из дальнего монастыря, взяла у одной из них свиту, у другой монашью, перерядилась монашенкой и взяла четки на руку. Крадучись, как вор, вышла она из дому, задами и огородами пробралась на дорогу и чуть не бегом пустилась по направлению к Белому городу.

Солнце было уже высоко, когда вдруг ударил набат на сторожевой вышке над приказ-

ной избой. В миг вся слобода заварила варом: все разом метнулись к съезжей избе; все на бегу расспрашивали друг друга:

— Что за набат? Кто велел его бить? Пожар али какая другая тревога?

И нигде не слышалось ответа на эти тревожные вопросы; только кто-то со стороны отозвался:

— Едет! Едет! Али ослепли?

— Кто едет?! — повторили сотни голосов.

— Царский посланец едет! — крикнули сторожа с вышки.

Тут уж все дальнейшие объяснения стали не нужны. Все взоры устремились на дорогу, с которой доносился топот бешеной скачки всадника.

Лихо привстав на стременах, этот всадник еще издали махал шапкою... Все еще издали узнали в нем стольника Александра Милославского, который в последние полторы недели почти безвыездно дневал и ночевал в слободе, принося сюда от царевны то вести, то ласковые речи, то щедрые подарки и посулы.

— Православные! — кричал всадник во все

горло, на всем скаку осадя взмыленного коня среди толпы, скопившейся у съезжей избы. — Православные! Злодеи Нарышкины старшего царевича Ивана задушили... добираются до всего царского корени! Спешите! Царевна молит вас прийти к ней на защиту!

Общий, неистовый, неудержимый рев толпы раздался в ответ на эту диковинную речь. Никто не спрашивал, не допытывался у посланца — когда, и кто, и где совершил страшное злодеяние... Все бросились за оружием. Хватали только копья да бердыши... Многие даже сбрасывали с себя строевые кафтаны на руки жен и дочерей, готовясь идти в одних рубахах. По знаку, данному выборными и десятниками, бубенчики и барабанчики двинулись вперед и грянули разом что-то нестройное и оглушительное... Вся толпа стрельцов заколыхалась, блестя на солнце бердышами и стальной щетиной.

— Идем разобраться в царских изменниках! — громко кричали в рядах, и эти крики сливались с треском барабанов и гуденьем бубен в один сплошной, страшный гул.

## Страшная действительность

Доктор Даниэль также не мог долгое время заснуть в эту страшную, грозную и бурную ночь. Расстроенный своими неудачами последних дней, тревожимый отовсюду получаемыми сведениями о возрастающих волнениях в стрелецких слободах, он очень беспокоился об участи своей семьи и утешался только приготовлением к свадьбе дочери, которая назначена была на 15-е число. Решено было даже так: Лизхен должна будет накануне свадьбы отправиться в Немецкую слободу и там остаться до венчанья в семье пастора, а отец и брат приедут туда же поутру...

Долго проворочавшись на постели, доктор Даниэль, наконец, заснул, думая о тех последних приготовлениях, которые ему предстояло сделать для завтрашнего свадебного обеда и приема новобрачных в своем доме, где Михаль уступал им на время свои две комнаты, пока отстроится для них особый флигелек.

«Главное — цветов, цветов побольше за

обедом», — думал доктор Даниэль, засыпая.

И перейдя от действительности в волшебный мир сна, он увидел себя в каком-то роскошном цветнике, густо заросшем дивными, невиданными цветами. Куда он ни оглядывался — везде цветы, и какие! Розы, гиацинты, лилии — так сами и просятся в руки, так и наклоняются к нему своими красивыми, яркими, ароматными головками... Но только что он протянет к ним руку — так тотчас и увидит, что под тем цветком светятся два глаза, выдвигается плоская, ехидная голова змеи с высунутым жалом, и кольца ее оплетают все стебли, все листья цветка... Он отдернет руку, и змея скроется; он потянется за другим, еще лучшим, еще более привлекательным цветком, — и опять из-под него с разных сторон выглянуть змеиные головы и змеиные кольца... И все змеи шипят, и все высовывают жало, и все готовы на него броситься и задушить его в своих холодных объятиях. Измученный этим сном, он хочет, наконец, махнуть рукой на эти проклятые цветы, прикрывающие собою страшное змеиное логовище, хочет уйти из этого соблазнительного цвет-

ника — и уйти нельзя: чуть он тронется с места, отовсюду — и сзади и с боков — выползают змеи, готовые его жалить, и оплетают его со всех сторон своею живою, пестрою, движущею сетью. Холодный пот выступает у него, наконец, на лбу, и он уже решается на отчаянное средство: силою вырваться из этого заколдованного места, пробиться через змеиную сеть, топча их ногами и разрывая руками, — как вдруг он чувствует на плече своем чью-то сильную руку, и над самым ухом слышит голос сына, который молит его:

— Отец! Отец! Вставай, вставай скорее, ради всего святого!

С большим усилием освобождаясь от тяжелой грезы сновидения, доктор Даниэль очнулся не сразу от сна и, даже поднявшись на своей постели, все еще твердил:

— Какой ужасный сон! Какой сон!

— Проснись, отец, забудь о своем сне и соберись с силами! Действительность, которая тебя ожидает, — о, она гораздо страшнее всякого сна!

Тут только доктор Даниэль пришел в себя, протер глаза и вполне разумно взглянул на



сына, который стоял около его постели и ломал руки в отчаянии.

— Что с тобой? Что случилось?.. Который час? — быстро и тревожно спросил доктор Даниэль, оглядывая сына, и тут только, при свете восковой свечи, стоявшей на столе, увидел, что на сыне лица нет. — Что с тобою, Михаэль? Ты болен? Что у тебя болит?

— Не болен я... Я здоров... Но мы погибли! Головы наши оценены и указаны злодеям... Надо бежать, надо скрыться во что бы то ни стало!.. Одевайся скорее!.. Вот тебе платье — все тут около тебя, на стуле!

Доктор Даниэль случайно бросил взгляд на платье, приготовленное ему, и увидел какой-то странный сермяжный кафтан, шапку с ушами... лапти... Ему показалось, что сон его еще продолжается, и он невольно спросил у сына:

— Ничего понять не могу! Что это за платье ты мне даешь? Неужели это...

Но Михаэль схватил отца за плечи, поднял с постели и встряхнул с чрезвычайной силой.

— Проснись! Ты должен сейчас нарядиться в это старье странника, должен скрыться,

должен не выходить из какой-нибудь щели два-три дня! Когда мятеж уляжется, ты явишься в Немецкую слободу... разыщешь нас... Но ради Бога, спеши! Через два, много — три часа стрельцы придут сюда...

И он учил отца, он показывал ему, как обмотать ноги, как оплести их оборами от лаптей; он надевал на него трепетными руками крестьянскую рубаху из грубого холста, подпоясывая его поясом... И тот подчинялся всему этому, как ребенок, очевидно растерявшись и все еще не отдавая себе полного отчета в переживаемой минуте.

И вдруг — сознание вернулось к нему, и он понял, что бросает дом, семью и все, что ему дорого и мило, и одевается в рубище нищего, чтобы укрыться от убийц и спасти свою жизнь, предавая сына и дочь на произвол судьбы.

— Нет! Это низко! Это подло! — воскликнул вдруг доктор Даниэль, стараясь сорвать с себя рубаху. — Нет! Я никуда не пойду! Я останусь здесь... Я ни в чем не виновен и потому мне нечего скрываться... Умирать, так умирать всем вместе!

— Отец! — взмолился к нему Михаэль. — Я жить хочу!.. Если ты скроешься — и я тоже скроюсь куда-нибудь, я тоже бегу! Оставшись здесь, ты и меня осуждаешь на гибель! Сжался надо мною!

И он рассказал ему все, что видел и слышал во время своего ночного дозора, и продолжал просить и молить отца до тех пор, пока тот, наконец, согласился и, уступив его просьбам, закончил свое переодевание.

Крупные слезы текли у них обоих из глаз, когда они обнялись на прощанье, и уста их слились в последний поцелуй. Отец хотел сделать сыну кое-какие указания относительно дома, хотел распорядиться своим добром, но только махнул рукою и пуще прежнего залился слезами.

— Не беспокойся! — поспешил его успокоить сын, понявши его мысль. — Я все сделаю, что могу! Уходи, уходи, ради Бога! Вон, смотри — ведь уж светает!

И он нахлобучил отцу шапку, совал ему палку в руки и за плечи поворачивал его к дверям.

— Куда ты? Не туда! — шептал он ему, ви-

дя, что отец направляется во двор, к крыльцу. — Ступай садом, через огород, — там я тебе проделаю лазейку в частоколе...



Тогда отец за руку, как братом, перешёл садик к одному длинному углу старика...

И таща отца за руку, он чуть не бегом бросился через сад к самому дальнему углу огорода, который врезывался в ограду соседней церкви. Здесь он трепетно, одушевляемый каким-то необычайным наплывом сил и энергии, разобрал частоколы, притоптал колючие кусты крыжовника и шиповника и очистил в изгороди как раз такое место, чтобы пролезть взрослому человеку, хотя и не без усилия...

Еще раз обнялись отец с сыном, крепко-крепко и тесно, условились сойтись через два дня у Гутменша или у пастора в Немецкой слободе — и расстались... Доктор Даниэль пробрался кое-как чрез лазейку, поправил колпак на голове и котомку за спиною и побрел к выходу из огорода, опираясь на свой посох. Сын, поглядывая через ту же лазейку, еще видел первые шаги отца к спасению и вздохнул полною грудью.

«Слава Богу! — подумал он. — Может быть, хоть он-то спасется?..»

О себе в это мгновение страшной тревоги и волнения добрый Михаэль даже и не думал. В то время, когда он, в полутьме наступающе-

го рассвета, подходил садом к дому, в ближайшей церкви ударили к заутрене, и начался обычный перезвон московских церквей, к которому теперь с особенным удовольствием прислушивался Михаэль.

«В церковь звонят; Богу собираются молиться... Уж верно и у них, злодеев, готовых к убийствам, шевельнется теперь мысль о Боге, о правде, о будущей жизни, о любви христианской! Верно, они не дерзнут приступить к своему злumu, кровавому делу в то время, когда будет совершаться богослужение в церквях... И если так, то еще найдется и время, и возможность ускользнуть от их рук...»

Вернувшись в дом, он вспомнил о том, что успокаивал отца перед разлукой с ним, принимая на себя заботы о необходимых распоряжениях по дому и имуществу.

— Надо то и другое прибрать, припрятать... Надо деньги положить куда-нибудь подалее! И то, что подороже, также...

Он сунулся было в комнату отца, отпер ящички его стола, заглянул в шкапы и сундуки со старьем, кое-что вынул и положил на вид, что было поценнее, но мысли путались у него

в голове, все как-то не клеилось, все валилось из рук... Он сам не мог отдать себе отчета, почему именно одну и ту же вещь он переставлял два и три раза с места на место, и потом все же оставлял на виду, не прибранную?

Притом, каждый шорох его пугал, заставлял оглядываться и вздрагивать, словно бы он совершал какое-нибудь дурное, чуть ли не воровское дело. И над всеми мыслями преобладало одно, главное сознание полной беспечности, бессмыслия этих его забот.

«Придут, убьют, и ограбят — и к чему тут эти глупые предосторожности! Пусть все пропадает, лишь бы в живых остаться, потому что все же лучше жизни — этого единственного блага — нет блага на свете!»

Бешеный и громкий лай собак, бросившихся к воротам, отвлек Михаэля от этих мыслей и заставил его поспешно глянуть в окно. Он видел, как Прошка, приотворив калитку, поговорил с кем-то и вновь ее запер... Тяжкие подозрения закрались в душу юноши.

«Что это значит? С кем он там переговаривался? Кому нас продает, изменник проклятый?!»

И Михаэль выскочил на крыльцо и крикнул Прошке:

— Кто за калиткой? С кем ты там переговаривался?

Прошка, видимо не ожидавший этого окрика, отвечал ему с некоторым смущением:

— Монахиня какая-то больная... что ли? Дохтура спрашивает... Так я сказал, что дохтур спит еще...

— Сейчас же верни ее...пусти ее немедленно! — еще громче и еще решительнее крикнул Михаэль.

Прошка повернулся к калитке, отпер ее, крикнул что-то, махая рукою, и минуту спустя, действительно, впустил во двор монахиню.

— Вон на крылец ступай! — указывал он ей, отгоняя от нее собак.

Монахиня, еле передвигая ноги, с видимым усилием поплелась к домовому крыльцу, на котором стоял Михаэль и внимательно и подозрительно в нее вглядывался.

— Ужели не узнал меня? — прошептала монахиня, взобравшись на крыльцо и низко



кланяясь Михаэлю.

— Алена Михайловна! — чуть не крикнул юноша. — Как попала ты сюда?

— Пришла умереть с тобою! — чуть слышно простонала она, опираясь на его руку и переступая порог его дома.

# XXIII

## Первый блин комом

День разгорался яркий, солнечный... Под утро буря стихла, и на небе не было ни облачка... В городе началось обычное движение и жизнь, и ее голоса, ее призывы, ее звуки стали долетать и в тот тупик, в котором стояло подворье доктора фон-Хадена... Шли тупиком люди; проехал тяжелый какой-то воз; кто-то стучался в калитку докторского дома и заглядывал даже во двор за какою-то потребой... Но, к крайнему удивлению Прошки и других докторских холопей, ни отец, ни сын не показывались из дома и не делали никаких распоряжений ни по запасам, ни по конюшне.

— Что-ж они там дрыхнут, будь им пусто! — ворчал конюх, обращаясь к Прошке, как старшему из холопей. — Ведь лошадям, небось, овса задавать надо!

— А я почему знаю? Сын-от выходил на крылец... И монахиню какую-то я к нему впускал еще раным-рано. Хворая, что ли...

— Да шут их дери и с монахиней! — еще громче конюха тараторила стряпуха. — Сегодня свадебный стол готовить приказано, а какая перемена после какой пойдет — о том ничего неведомо! Ровно я в потемках брожу.

— Да ты бы хоть сходил — посмотрел: что у них там в дому-то деется? — подзадоривали Прошку и остальные холопы. — А то ведь потом на нас же взыщется! Без вины виноваты будем!

«И что такое там над ними стряслось? — подумалось и самому Прошке. — Уж не подошли ли они и в самом деле, грешным делом? Ни свет, ни заря поднялись, — а носу о сю пору из дома не кажут!»

И хотя ему хотелось воспользоваться этим неожиданно свободным временем и шмыгнуть в кружало, но любопытство преодолело, и он направился чрез крыльцо в дом.

Первое, что бросилось ему в глаза, это — какой-то странный, необычный беспорядок, который господствовал во всех комнатах, начиная с сеней. Везде валялась брошенная обувь; платье, обычно висевшее на вешалке, было свалено кучею в столовой комнате; тут

же стояла серебряная посуда, вынутая из шкапов и сундуков, и дорогое парадное докторское платье, обшитое пластинчатыми соболями, разложено на столе его рабочей комнаты. «Да куда же они хворую монахиню девали?» — продолжал недоумевать Прошка.

Вышел на крыльцо, которым сходили в сад, и даже дерзнул окликнуть своих господ. Но никто на тот оклик его не отозвался...

«Э-э! Да что же я! Ведь я в опочивальне-то и не был... Туда вот разве заглянуть?»

Он туда и направился — тихохонько, на цыпочках... Но тут ожидала его главная и поразительная загадка!

В опочивальне царил изумительный хаос и беспорядок... Все было раскидано, разбросано, скомкано, сбито в кучу... Но изумительнее всего было то, что платье доктора Данилы и платье его сына и даже ряса монахини — лежали здесь, на полу и на лавках, а самих-то их не было... Словно и не бывало — и след их простыл!

«Как же это!.. Платье тут, а самих-то их нет?» — начал было соображать Прошка, никак не будучи в состоянии связать нити своих

мыслей конец с концом, и вдруг почувствовал, что на него напал какой-то невероятный страх и даже трепет... Трясаясь всем телом и не смея оглянуться назад, Прошка заревел благим матом и, как заяц, бросился со всех ног из дома во двор.

— Братцы, братцы! Хозяев-то наших чорт в трубу унес! Ай-ай! Чорт унес!.. И платье здесь... а их самих нет... Ай! — ревел на бегу Прошка и, как пуля, влетел в кучу холопей, скопившуюся около поварни.

— Что ты? Ошалел, что ли? Обалделый! Что врешь-то, что путаешь? — тревожно заговорили люди.

— Что врешь, что путаешь?! — передразнил их Прошка. — Ступайте, дьяволы, сами посмотрите!..

Никто на этот довод ничего не нашелся ответить. Все друг на друга посмотрели и не сдвинулись с места.

— А и то вам еще вот что скажу, — догадался Прошка, — что никак я самого дьявола-то и в калитку впускал! В образе инокини хворой... Она, видно, дьявол-то и была!

— И той нет? — спросили холопы.

— Ни слыхом не слыхать, ни видом не видеть!

— И тоже ряса здесь? — спросил конюх.

— Здесь и лежит... рядом с барским платьем!

— Тьфу, пропасть! С нами крестная сила! Вот ведь напасть какая на нехристей стряслась! — сказал конюх. — Ну, да уж пойдемте, братцы, вместе, всем сходней, — посмотрим, что там есть? Ведь Прощке тоже не гораздо верить можно...

После некоторого колебания все двинулись в дом гурьбою — не без оглядок, не без опасения... Обошли все комнаты, заглянули во все закоулки; смотрели даже под лестницей, в чулане, под ларями, полками, кроватями — и нигде ничего не нашли.

— Что за притча! Серебро, деньги, меха — все раскидано, все наружу побросано, словно тут воры были или сам Мамай воевал, — и только самих хозяев нет!

Пошли и в сад, и в огород, — все кусты там осмотрели и, наконец, нашли натоптанный след к лазейке...

— Э-э-э! Да они, должно быть, тягу дали? —

догадался конюх. — Дело тут не очень чисто... Ребята! А не заглянуть ли нам к ним в погреб: тамо ведь у дохтура Данилы добрые меды и вина хранились...

Мысль понравилась, — соблазн был не малый! Кто-то заметил, что погреб на замке, но другой, догадливый, тотчас же нашелся сказать, что «без хозяина и замок не служит» — и все, кроме Прошки, направились к погребу.

А Прошка подумал неспроста, что пока они там будут в погребе распоряжаться, он будет иметь время кое-что поценнее прибрать к рукам.

«А там, как поприпрячу деньги да меховую казну, получше которая, так я их вот как пугну: оденусь в платье дохтура Данилы, выйду на крыльцо да как зыкну на них! То-то смеху будет потом!»

Задумал — и сделал! С ловкостью опытного, бывалого вора, очень быстро связал Прошка деньги и меховую казну в узелки, порассовал все это по кустам в огороде, а два большие жалованные кубка даже успел зарыть в гряды с капустой, и, придя в опочивальню старого доктора, скинул с себя свою холопью

круту и стал рядиться в дохтурское немецкое платье... Обрядившись вполне плутоватый холоп вздел на голову и ту бархатную шапочку с кистью, в которой доктор постоянно ходил дома, взял в руки трубку его, и вышел на крыльцо.

Но он не успел еще и рта разинуть, как в тупике раздался какой-то необычайный шум, крики, топот множества ног, лязг и бряцание оружия... Потом послышались тяжелые удары в ворота и крики:

— Эй, отворяй! Отворяй живей, не то со-рвем ворота с петель!..

Перепуганные холопы выскочили из погреба, бросились отворять калитку, которая разом распахнулась настежь... Два-три десятка стрельцов с бердышами и копьями в руках миглом ворвались во двор, отворили ворота, и другая ватага их, в полсотни или более, волною хлынула во двор и окружила холопей.

— Где кудесник? Где дохтур Данила? Где сын его? Давай их нам сюда! — кричали стрельцы, между которыми было уже много пьяных.

— Отцы родные! Благодетели! Не знаем, не



ведаем, ей-ей не ведаем! — вопили насмерть перепуганные холопы. — Мы и сами их искали, да не нашли!

— Врете, собачьи дети! Выдавай проклятых нехристей! Ведь все равно найдем... И если найдем, так и вас рядом с ними искрошим!

— Ищите, где хотите! Дом весь пуст! — клялись и божились холопы, ползая на коленях пред рассвирепевшими стрельцами.

— Эй, братцы! Кто же это там на крыльце стоит? Вон! — крикнул один из стрельцов, указывая пальцем по направлению к крыльцу, на котором ни жив, ни мертв стоял Прошка в дохтурском платье.

Стоял и, от страха не чувствуя под собою ног, не мог ни шевельнуться с места, ни произнести ни звука...

— Он это... он самый! — крикнули холопы, обрадованные неожиданным появлением своего хозяина.

Неистовый крик радости и зверского довольства раздался из толпы стрельцов. Все бросились к крыльцу с криками.

— А, кудесник проклятый! Отравитель! А! Попался!.. не уйдешь теперь! Хватай его, ребята!

та! Бей! — слышались крики.

Десяток дюжих рук стащили Прошку с крыльца, и прежде чем он успел крикнуть: «Я Прощка! Прощка! Я не дохтур!» — его уж бросили на землю, топтали ногами, били древками копий и бердышей, волокли из стороны в сторону по двору!.. Кто-то ткнул его в бок копьем, другой отхватил у него руку ударом бердыша... Через несколько минут он уже представлял собою одну сплошную окровавленную массу...

— Стойте, стойте, братцы! Ведь его приказано живьем доставить... пытаться в застенке! — спохватился кто-то уж слишком поздно.

— Ну, брат! Теперь уж пытай — не пытай, — ничего от него не допытаешься...

Кто-то из холопей из-за спины стрельцов глянул на убитого и вдруг крикнул:

— Батюшки! Да ведь это вы не дохтура, а Прошку убили... холопа дохтурского!

— Полно врать, разве не видишь? — с некоторым смущением заговорили убийцы.

— Разве не видишь, у него крест с ладонкой на шее? — еще смелее выступил холоп. — Чай у нехристей креста не бывает!..

Руки полезли в затылок, брови нахмурились: «первый блин да комом!»

— Да сам-то где же? Сын его где? — загалдели опять стрельцы, стараясь скрыть свое смущение.

— А вот подите — ищите их! Мы нешто за них в ответе состоим? Нешто скрывать их станем? — закричали в свою очередь и ободренные холопы.

Стрельцы бросились в дом, в сад, в огород, все обыскали, перерыли — и убедились в том, что кудесник, кем-то предупрежденный, ушел заранее чрез лазею из огорода в ограду соседней церкви.

— Ну, коли смерть ему на роду написана, — не уйдет от нас! — злобно говорили они, очищая двор дохтурского дома и стараясь утешить себя в неудаче.

# XXIV

## Роковой день

Доктор Даниэль, переодетый странником — в тот самый страннический костюм, которым сын его Михаэль так часто прикрывал свои вечерние посещения Алены Михайловны, выйдя из лазей в ограду церкви, долго не мог совладать с собою и с тем порывом чувств, который охватил все его существо при прощании с сыном. Ему припомнилось отрадное слово его дорогого Михаэля — этого сына, который готов был для отца на всякое жертвование, — и слезы лились у него из глаз, лились неудержимо. Пройдя чрез ограду, только что отпертую сторожем, который полез звонить на колокольню, доктор Даниэль вышел в незнакомый ему переулок и пошел, что называется, куда глаза глядят. На улице было не вполне светло, и наш странник шел наугад, не слишком хорошо знакомый с закоулками Москвы, вне той центральной части города, среди которой он почти постоянно вращался.

Долго-долго ходил он, наконец почувствовал утомление и присел на лавочке около какой-то церкви, среди толпы других странников и нищей братии, выжидавших конца обедни, чтобы собрать милостыню с православных. Об этой милостыне и тех житейских прелестях, какие она может доставить, — только и речи было между этим людом.

— Купец-то этот, толстопузый чорт, — говорила одна из нищих, — ведь он никому больше грошика не даст, словно у него неразменный грош в кармане! А ведь сам как богат, — врозь лезет от денег.

— Э-э, матушка! С деньгами только и житье. Без денег ты везде худенек!

— Вестимо, уж без денег-то что за житье! Что встал, то за вытье! — со вздохом добавил какой-то худой, безногий старик.

«Что и в деньгах! — думал несчастный доктор Даниэль, прислушиваясь к этим речам. — Все бы деньги, все свое богатство, всю казну мою и достояние отдал бы теперь за одно слово, за одну надежду на спасение».

И ему опять вспомнился его дом и дети, и тот семейный праздник, который готовился

на сегодня, и его мелочные, ничтожные заботы о пустяках, о подробностях свадебного обеда — о цветах! И как же горько насмеялся он над самим собою при этих мыслях...

Отдохнув немного, он побрел далее, еще перешел несколько улиц и, чувствуя, что ноги под ним подкашиваются, зашел в одну из церквей, по пути. Там присел он на колени в одном из самых темных углов притвора. Народу в церкви было много; кафельный дым синими слоями носился в воздухе над головами молящихся; стройное пение слышалось с клироса... Вдруг какой-то далекий и чуждый звук нарушил эту гармонию. Какие-то крики, сначала отдаленные, а затем все более и более приближавшиеся, долетали до слуха фон-Хадена. Эти крики изредка смолкали и сменялись бестолковым треском барабанов и гудением бубен, которые в свою очередь покрывались криками. В церкви произошел переполох. Многие, забыв о молитве, бросились в притвор — посмотреть, что происходит на улице. Доктор Даниэль, трепеща от страха, не смел двинуться со своего места и услышал явно неистовые крики подступавших

стрельцов:

— Эй, вы! Православные! Взлезай на колокольню, бей набат! Чтоб всем слышно да ведомо было, что стрельцы идут разбираться в государевых изменниках!

Через минуту набат ревел на колокольне, нарушая благолепие служения, смущая сердца верующих. А масса стрельцов, брянда оружием и громко крича, валила и валила мимо церкви... И крики, и шум, и движение толпы постепенно затихали и, наконец, замолкли вдали.

— Вот они! Кровь проливать идут! — слышались голоса в церкви. — Шутка ли? Говорят, из всех слобод двинулись, отовсюду к Кремлю идут!

— Пронеси, Господи, тучу грозную! — молились иные.

Но церковь еще до окончания обедни уже опустела. Все спешили по домам, опасаясь за своих дорогих и близких... Доктор Даниэль вышел из церкви последним и опять побрел куда глаза глядят. Но на этот раз чувство самосохранения работало в нем сильнее: он спешил поскорее достигнуть окраины города,

поскорее выйти за черту его.

Вот, наконец, и последний поворот улицы в какой-то последней, жалкой слободке, при-мыкающей к городу; вот и проезжая дорога, и лес, чернеющий вдали; вот далее, среди лугов, извивы Москвы-реки, убегающей за какие-то холмы.

Он вышел за город и поплелся дорогой, к лесу... Встречавшиеся с ним пешеходы и обозники кланялись ему и говорили ему:

— Мир дорогой, старче Божий!

И он им кланялся молча, стараясь поскорее дойти к лесу, который почему-то представлялся ему надежным убежищем. Вот, наконец, и опушка леса, и благодатная тень, и мягкая мурава, на которой он может свободно и спокойно растянуться, подложить себе котомочку под голову и расправить усталые члены...

Он прилег в лесной тени и, сильно утомленный большим непривычным переходом и тяжким своим волнением, быстро заснул, убаюканный шелестом листьев.

Он не знал — долго ли он проспал. Но солнце было уже очень высоко, когда он



проснулся, — было далеко за полдень. После отдыха стал сказываться голод. Фон-Хаден со вчерашнего дня ничего не ел, а после большого, вынужденного движения явился волчий аппетит, на удовлетворение которого не представлялось никакой надежды...

Пришлось победить его, потому что даже мысль о необходимости вернуться в город или хоть бы добраться до ближайшей деревни и просить там о хлебе, как о милости, — приводила доктора Даниэля в ужас и трепет... А с собою ни денег, ни запасов никаких не было...

«Стану просить Христовым именем, — думал он с замиранием сердца, — накормят, конечно! Но спросят: откуда и куда я иду? И что скажу я тогда? По разговору, по выговору меня тотчас узнают — пожалуй, схватят, в город отведут... О!»

Он решил остаться в лесу до завтра. Разыскал какую-то лужу, напился из нее воды и опять лег, стараясь заснуть и сном заморить голод... Но все попытки его оказались тщетными. Сон не сходил к нему на очи, а есть хотелось до боли, до отчаяния... И темнота со-

шла на землю, и роса пала, теплая и благодатная, и птички замолкли в лесу, но голод терзал несчастного, как лютый зверь, беспощадно, непрерывно, неуголимо. Наконец, темно стало — совсем темно в лесной чаще; ни одна звездочка не мерцала сквозь густую листву деревьев; сова где-то стала стонать в старом дупле, а филин ей откликнулся своим жалобным уканьем... Летучие мыши зашелестели среди ветвей — и сон окончательно отлетел от несчастного доктора Даниэля. Окружающая его тьма вдруг ожила и наполнилась страшными, кровавыми образами: перед распаленным его воображением чередою пронеслись картины, одна другой страшнее, одна другой поразительнее... Вот стрельцы открыли убежище его сына Михаэля; вот лезут в окно, в двери — одолевают его отчаянное сопротивление, пластают его красивое молодое тело своими бердышами... Выбрасывают останки его псам на съедение... И он явственно слышит, как кто-то с адским хохотом шепчет ему на ухо:

«Ну, а ты что же зеваешь! Ведь ты голоден! Поди, подели трапезу со псами и хищными

воронами».

Как он дожид до утра — он этого никак не мог понять... Он догадался о наступлении следующего дня, как сквозь деревья опушки заалел восток и рассвет, повеял холодок, охватив его невольной дрожью. Вот и заря — огнистая, кровавая...

«О, Господи! Как мне есть хочется! Как тяжки эти муки! Как страшны! Чего бы не дал я теперь за краюшку, за корку черствого, сухого хлеба!»

И ему приходит невольно в голову, что гибель от голода ничуть не страшнее той, какая ожидает его там, в Москве. Это соображение мало-помалу приводит его к решимости — идти в Москву, искать возможности утолить голод и вместе с тем разузнать, что там случилось, что произошло вчера? Он задумал сделать большой крюк, зайти в город с противоположной стороны, пробраться какими-нибудь закоулками в Немецкую слободу... и тогда...

«О! Тогда я спасен!»

Собравшись с последним запасом сил и энергии, он поплелся в обход. Огородами и за-

дами пригородной слободки он, кое-как миная стрелецкие разъезды и патрули, наконец, очутился на улице и стал осматриваться, чтобы опознаться.

— Странничек! Божий человек! Ты что же это? Аль у тебя гвоздем шапка к голове прибита... Стоишь пред иконой и шапки не ломаешь! — крикнули ему какие-то корявые старушоночки, сидевшие у входа в монастырскую ограду, около иконы, вделанной в стену.

Фон-Хаден вздрогнул и снял шапку с головы.

— Ой, батюшки! Да это кто-то не здешний! Смотрите-ка, борода у него скобленая! — закричали те же старушонки.

Около доктора Даниэля мигом собралась толпа...

— Откуда ты? Сказывай! С коих мест? — допрашивали оторопевшего доктора.

К толпе неведомо откуда примкнули два стрельца.

— Э-э, братцы! — крикнул один из них. — Да я красного зайца поймал! Это он самый! Кудесник-то, дохтур!

Сбежалось еще больше народа; явились

еще другие стрельцы. Фон-Хадена тотчас скрутили, поволокли. Толпа хотела его бить; но стрельцы отстояли, крича:

— Ни, ни! Не троньте! Его приказано живьем доставить в застенок! Говори: ты, что ли, дохтур Данила Гадин?

— Я, — произнес несчастный с решимостью отчаяния. — Но я умираю с голоду... Дайте мне кусок хлеба и ведите, куда хотите!

Радостные, неистовые крики стрельцов приветствовали это признание: жертву торжественно поволокли в застенок, по улицам, залитым кровью, мимо груд окровавленных, изрубленных тел, еще валявшихся на площадях и перекрестках.



Жертву торжественно похоронили в захоронья...

## Эпилог

Кровавая, страшная трагедия стрелецкого бунта закончилась на третий день мучительными пытками Ивана Нарышкина, который умер смертью героя, никому не ответив на пыточном допросе и истощив терпение своих палачей. Софья, несколько дней спустя, явилась правительницею, а старший царевич Иван, «косный умом и языком», вступил в соцарствие с братом своим, царем Петром. Царица Наталья Кирилловна еще раз вместе с сыном своим и приближенными боярами удалилась в Преображенское — оберегать свое сокровище от «злых и лихих умыслов» милославщины и готовить в будущем к страшному мщению.

Полгода спустя, после всех этих ужасов, Лизхен была скромно повенчана в лютеранской кирке Немецкой слободы со своим возлюбленным Адольфом Гутменшем. Из церкви новобрачные направились на кладбище, где в двух могилах рядом были похоронены несчастные доктора-иноземцы, растерзанные стрельцами. В одной из этих могил нашел себе последнее пристанище тщеславный и честолюбивый Яган Гутменш, в другой были по-

хоронены вместе — благородный доктор Даниэль фон-Хаден и его молодой сын, красавец Михаэль.

Новобрачные склонили колени у этих скромных могил и долго-долго молились за упокой души несчастных, которым пришлось пасть невинными жертвами дикой смуты, измышленной коварством, руководимой личными расчетами корысти и славолюбия.

— Мир их праху! — проговорил, наконец, Адольф, поднимаясь с колен и поднимая плачущую Лизхен. — Довольно нам плакать... Порадуемся тому, что мы живы и можем их вспомнить добром!

— Нет! погоди, Адольф... Мы были бы несправедливы, если бы не вспомнили еще об одной невинной жертве этих кровавых дней... Я не знаю, как звать ту женщину, которая так горячо любила Михаэля; но я не могу спокойно вспомнить о ее готовности всем для него пожертвовать... Она все сделала, чтобы спасти отца и брата... Она спрятала Михаэля в доме своих родственников и, когда он был отыскан, она с мужеством, достойным мужчины-героя, защищала брата от нападав-



ших на него злодеев. «Убейте и меня с ним вместе!» — вот что было ее последним словом... И она пала под ножами убийц!.. Святая любовь! Великая любовь — равняющая всех и все!

И новобрачные еще раз опустились на колени и помолились за упокой души несчастной Алены Михайловны.



All rights reserved. This book or any portion thereof may not be reproduced or used in any manner whatsoever without the express written permission of the publisher except for the use of brief quotations in a book review.

**«Strelbytsky  
Multimedia Publishing»**

Saksaganskogo str., 58, office 8  
Kiev, Ukraine, 01033

tel. +38044 331-06-20  
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

Все права защищены. Эта книга или любая ее часть не может быть воспроизведена или использована любым другим способом без письменного разрешения издателя исключая использование цитат из книг или иного способа предусмотренного законодательством.

**«Мультимедийное  
издательство Стрельбицкого»**

ул. Саксаганского, 58, оф.8  
Киев, Украина, 01033

тел. +38044 331-06-20  
e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Электронная книга издана  
«Мультимедийным издательством Стрельбицкого»**

С нашими изданиями электронных книг и аудиокниг вы можете познакомиться на сайтах:  
**www.strelbooks.com** **www.audio-book.com.ua**

Желаем приятного чтения!

Свои замечания и предложения направляйте на e-mail: dmytro.strelb@gmail.com

**Эта книга охраняется авторским правом**

Copyright © 2016

**«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»**

# Примечания

# 1

Мама, т. е. боярыня, выкормившая царевича грудью и вынянчившая его.

[^^^]